ГУСТАВ ШПЕТ

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

II

ПЕТЕРБУРГ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „КОЛОС“
1923

Настоящее издание отпечатано в типографии Первой Петроградской Трудовой Артели Печатников (Моховая, 40), в количестве 1.200 экземпл. Главлит № 1058.

267
23.

СВОЕВРЕМЕННЫЕ НАПОМИНАНИЯ

СТРУКТУРА СЛОВА IN USUM AESTHETICAE

I
1
A

ТЕРМИН «с л о в о» в нижеследующем берется, как комплекс чувственных дат, не только воспринимаемых, но и претендующих на то, чтобы быть п о н я т ы м и, т.-е. связанных со смыслом или значением. Слово есть чувственный комплекс, выполняющий в общении людей специфические функции: основным образом — семантические и синсемантические, и производным — экспресивные и дейктические (указание, призыв, приказание, жалоба, мольба итд.). Слово есть prima facie с о о б щ е н и е. Слово, следовательно, средство общения; сообщение — условие общения. Слово есть не только явление природы, но так же принцип культуры. Слово есть архетип культуры; культура — культ разумения, слова — воплощение разума.

Всё равно, в каком качественном чувственном комплексе воспринимается слово. Эмпирически наиболее распространенным является качество звукового комплекса. Одно качество может быть переводимо в другое. Законы и типы форм одного качества могут быть раскрыты и во всяком другом качестве. Художественное и вообще творческое преобразование форм одного качества может рассматриваться, как типическое для всякого качества.

Слово есть знак sui generis. Не всякий знак — слово. Бывают знаки — признаки, указания, сигналы, отметки, симптомы, знамения, omina, ипр., ипр. Теории о связи слова, как знака, с тем, что он значит, основанные на психологических объяснениях, — асоциациях, связи причины и действия, средства и цели, преднамеренного соглашения итп.,—только гипотезы, рабочая ценность которых, при современном кризисе, доходит до нуля. Связь слова со смыслом есть связь с п е ц и ф и ч е с к а я. Она является «родом», а не подводится под род. Если бы даже оказалось возможным подвести ее под род, или если бы какие-нибудь принципиальные предпосылки допускали такое подведение и требовали его, всё-таки м е т о-

дологически правильнее, безупречнее и целесообразнее, до построения каких бы то ни было теорий, рассматривать названную связь, как специфическую. Специфичность связи определяется не чувственно данным комплексом, как таким, а смыслом,—вторым термином отношения,—который есть так же sui generis предмет и бытие. Только строгий феноменологический анализ мог бы установить, чем отличается восприятие звукового комплекса, как значащего знака, от восприятия естественной вещи. Слова-понятия: «вещь» и «знак»—принципиально и изначально гетерогенны, и только точный интерпретативный метод мог бы установить пределы и смысл каждого. Это—проблема не менее трудная, чем проблема отличия действительности от илюзии, и составляет часть общей проблемы действительности.

Что такое «одно» слово или «отдельное» слово, определяется контекстом. В зависимости от цели, из данного контекста, как отдельное слово, может быть выделен то один, то другой звуковой комплекс. В новое время графическое изображение и выделение в отдельное слово звукового комплекса устанавливается произвольно—

по большей части по соображениям удобства и потребностей граматической морфологии. «Ход» есть отдельное слово, также «пароход», также «белыйпароход», также «большойбелыйпароход», также «явижубольшойбелыйпароход» итд. Синтаксическая «связь слов» есть также слово, следовательно речь, книга, литература, язык всего мира, вся культура — слово. В метафизическом аспекте ничто не мешает и космическую вселенную рассматривать, как слово. Везде существенные отношения и типические формы в структуре слова — одни.

Графически слово может изображаться сложною и простою системою знаков. Пиктография и грамография имеют свою историю. Графический знак всегда может быть заменен звуковым. Даже такой графический знак, как свободный промежуток между двумя написанными, нарисованными или напечатанными «словами»,—«пробел»,—может быть заменен звуковым комплексом или звуковою п а у з о ю, которые могут принять на себя любую функцию знака, в том числе и сло́ва, т.-е. осмысленного, со значением знака. Теория слова, как знака, есть задача формальной онтологии или учения о предмете, в отделе с е м и о т и к и.

Слово может выполнять функции любого другого знака, и любой знак может выполнять функции слова. Любое чувственное восприятие, любой пространственной и временной формы, любого объема и любой длительности, м о ж е т рассматриваться как знак, и следовательно, как осмысленный знак, как слово. Как бы ни были разнообразны супозиции «слова», специфическое определение его включает отношение к смыслу.

В

Под с т р у к т у р о ю слова разумеется не морфологическое, синтаксическое или стилистическое построение, вообще не «плоскостное» его расположение, а, напротив, органическое, вглубь: от чувственно воспринимаемого до формально-идеального (эйдетического) предмета, по всем ступеням располагающихся между этими двумя терминами отношений. Структура есть конкретное строение, отдельные части которого могут меняться в «размере» и даже качестве, но ни одна часть из целого in potentia не может быть устранена без разрушения целого. In actu некоторые «члены» могут оказаться недоразвившимися, в состоянии эмбриональном, или дегене-

рировавшими, атрофированными. Схема структуры от этого не страдает. Структура должна быть отличаема от «сложного», как конкретно разделимого, так и разложимого на абстрактные элементы. Структура отличается и от агрегата, сложная маса которого допускает уничтожение и исчезновение из нее каких-угодно составных частей без изменения качественной сущности целого. Структура может быть лишь расчленяема на новые замкнутые в себе структуры, обратное сложение которых восстанавливает первоначальную структуру.

Духовные и культурные образования имеют существенно структурный характер, так что, можно сказать, что сам «дух» или культура — структурны. В общественном мире структурность — внешне привходящее оформление. Само вещество принципиально лишено структуры, хотя бы состояло из слагаемых, структурно оформленных. Масло, хлеб, воск, песок, свинец, золото, вода, воздух. Дух принципиально не-вещественен, следовательно, не допускает и соответствующих аналогий. Воздух приобретает формы лишь въ «движении» («дух»), вода—в течении, в сосудах, итд. Структурны в вещественном

мире лишь оформленные образования—космические, пластические, органические, солнечная система, минеральный кристал, организм. Организм есть система структур: костяк, мышечная система, нервная, кровеносная, лимфатическая, итп. Каждая структура в системе сохраняет свою конкретность в себе. Каждая часть структуры – конкретна и остается также структурою, пока не рассыпется и не расплавится в вещество, которое, хотя также конкретно, но уже не структурно.

В структурной данности все моменты, все члены структуры всегда даны, хотя бы in potentia. Рассмотрение не только структуры в целом, но и в отдельных членах, требует, чтобы никогда не упускались из виду ни актуально данные, ни потенциальные моменты структуры. Всякая структурная форма рассматривается актуально и потенциально полною. Актуальная полнота не всегда дана explicite. Все имплицитные формы принципиально допускают экспликацию. Применительно к слову особенно важно помнить об этом. Так энтимема потенциально и implicite содержит в себе силогизм со всеми его структурными членами; теория сжимается в

формулу; математическая форма содержит не только потенциальные отношения, раскрывающиеся в актуальных количественных измерениях, но также имплицирует приводящий к ней алгоритм; предложение in potentia есть система выводов и implicite—заключение силогизма; понятие (терминированное слово) — in potentia, а также implicite—предложение; метафора или символ—implicite система тропов и in potentia — поэма; итд.

2

Exempla sunt odiosa.

II
1
A

Слово, как сущая данность, не есть само по себе предмет эстетический Нужно анализировать формы его данности, чтобы найти в его данной структуре моменты, поддающиеся эстетизации. Эти моменты составят эстетическую предметность слова. Психологи не раз пробовали начертать такую схему слова, в которой были бы выделены члены его структуры (ср. попытки Месера, Мартинака и под.; наиболее интересна Эрдмана,

Érkennen und Verstehen). Но они преследовали цели раскрытия участвующих в понимании и понятии психо-физических процесов, игнорируя предметную основу последних. Вследствие этого вне их внимания оставались те моменты, на которых фундируются, между прочим, и эстетические переживания. Если психологи и наталкивались на эстетические «осложнения» занимавших их процесов, этот эстетический «чувственный тон» прицеплялся к интелектуальным актам, как загадочный привесок, рассмотрение которого отсылалось «ниже». «Ниже» эстетическое «чувство» обыкновенно опять «объяснялось» без всякого предметного основания и без предметной мотивировки.

Возьмем слово, как мы его воспринимаем, с л ы ш и м, от нашего собеседника N, нечто нам сообщающего, «передающего». Безразлично, желает он вызвать в нас эстетический эфект, или таковой вызывается помимо его сознательного желания. Если бы вместо этого мы взяли нами самими произносимое слово или «внутренне» данное, как препирательство с самим собою, мы нашли бы его менее «связным», его назначение и роль, как сообщения, была бы не

столь ясна, но в своих предметных свойствах это слово существенно не отличалось бы от слова, слышимого из уст N. Особенно был бы затруднен анализ такого примера тем, что в поле внимания всё время вторгались бы условия, причины и поводы возникновения этой внутренней речи, т.-е. вся генетическая обстановка речи, интересная для психолога, но нерелевантная для предметного анализа.

Услышав произнесенное N слово, независимо от того, видим мы N или нет, осязаем его или нет, мы умеем воспринятый звук отличить, (1) как голос человека — от других природных звуков, воспринять его, как общий признак человека, (2) как голос N—от голоса других людей, как индивидуальный признак N, (3) как знак особого психофизического (естественного) состояния N в отличие от знаков других возможных состояний его или какого-либо другого человека. Всё это—функции слова естественные, природные, в противоположность социальным, культурным. До сих пор слово еще ничего не сообщает; сам N есть для нас «животное», а не член, in potentia или in actu сознаваемого, общежительного единства.

Далее,--(само собою разумеется, что эта последовательность не воспроизводит временнóго эмпирического ряда в развитии и углублении восприятия), —мы воспринимаем слово, как явление не только природы, но также как факт и «вещь» мира культурно-социального. Мы воспринимаем, следовательно, слово, (4) как признак наличности культуры и принадлежности N к какому-то менее или более узко сознаваемому кругу человеческой культуры и человеческого общежития, связанного единством языка. Если оказывается, что язык нам знакóм, каковая знакомость также непосредственно сознается, то мы его (5) узнаèм как более или менее или совершенно определенный язык, узнаем фонетические, лексические и семасиологические особенности языка, и (6) в то же время понимаем слышимое слово, т.-е. улавливаем его смысл, различая вместе с тем сообщаемое по его качеству простого сообщения, приказания, вопроса итп., т.-е. вставляем слово в некоторый нам известный и нами понимаемый смысловой и логический номинативный (называющий вещи, лица, свойства, действия, отношения) контекст. Если, кроме того, мы

достаточно образованы, т.-е. находимся на соответствующей ступени культурного развития, мы (7) воспринимаем, и, воспринимая, различаем, условно установленные на данной ступени культуры, формы слова в тесном смысле морфологические («морфемы»), синтаксические («синтагмы») и этимологические (точнее, словопроизводственные). Ясно, что в специальной научной работе может случиться и случается, как во всем известных примерах расшифровки древних надписей или как при расшифровке криптограм, — что пункт (7) выполняется «до» (6) или независимо от него. (Случаи отступления от намечаемой типической схемы по каждому пункту так многочисленны и очевидны, что оговаривать их в этом беглом обзоре надобности нет).

В

Особняком стоит еще один момент восприятия слова, хотя и предполагающий восприятие слова в порядке культурно-социальном, т.-е. предполагающий понимание слова, тем не менее, как факт естественный, сам лежащий в основе человеческого (и животного) общения. Это

есть (8) различение того эмоционального тона, которым сопровождается у N передача понимаемого нами осмысленного содержания «сообщения». Мы имеем дело с чувственным впечатлением (Eindruck) в противоположность осмысленному выражению (Ausdruck), с со-чувством с нашей стороны в противоположность со-мышлению. Тут имеет место «понимание» совсем особого рода,—понимание в основе своей без понимания,—симпатическое понимание. Здесь восприятие направлено на самое личность N, на его темперамент и характер, в отличие от характера и темперамента других людей, и на данное его эмоциональное состояние в отличие от других его прошлых или вообще возможных состояний. Это есть восприятие личности N или персонное восприятие и понимание. Оно стоит особняком, носит природный характер и возвращает нас к (3). Только теперь восприятие эмоционального состояния N связывается нами не просто с психофизическим состоянием N, а с психофизическим состоянием' так или иначе приуроченным нами к его личному пониманию того, что он сообщает, и его личному отношению к сообщаемому, мыслимому,

называемому, к экспресии, которую он «вкладывал» в выражение своей мысли. Не нужно суживать понятие со-чувства, син-патии, и предполагать, что всякий со-чувственный отклик на чувства N есть отклик того же непременно качества, отклик «подражательный», «стадный». Речь идет только об известном паралелизме, кореспонденции, — «со», «син» указывают здесь только на фактическую и существующую *совместность* и на *формальное соответствие*, где на «да» может последовать и «да» и «нет», и неопределенная степень колебания между ними, duellum.

Осложненный случай, когда N *скрывает* свое душевное состояние («волнение»), подавляет, маскирует, имитирует другое, когда N «играет» (как актер) или обманывает, такой случай вызывает восприятие, различающее или неразличающее, в самом же симпатическом и интелектуальном понимании, игру и обман от того, что переживает N «на самом деле». Получается интересная своего рода супозиция, но не в сфере интелектуальной, когда мы имеем дело с словом о слове, с высказыванием, сообщением, смысл которых относится к

слову, а, в паралель интелектуальной сфере, в сфере эмоциональной. Здесь не «значение» налезает на «значение», а «со-значение» — на «со-значение», синекдоха (не в смысле риторического тропа, а в буквальном значении слова) на синекдоху. Можно сопоставить это явление также с настиланием символического, иносказательного вообще смысла или смыслов, на буквальный,—своего рода эмоциональный, resp. экспресивный символизм, которого илюстрацией, например, может служить условность сценической экспресии. Такой случай весьма интересен, в особенности еще и потому, что есть один из случаев перебоев естественного и искусственного, «природы» и «искусства». Он очень важен, следовательно, при анализе эстетического сознания, но не составляет принципиально нового момента в структуре слова.

Возможно также «осложнение» другого типа: N сообщает о своем собственном эмоциальном состоянии, — особенно об эмоциональном состоянии, сопровождающем высказывание, тогда его состояние воспринимается, (а) как смысл или значение его слова, по пониманию, и как

(b) со-значение, по симпатическому пониманию. (a) и (b) в таком случае — предметные данности разных порядков: (a) относится к (6), (b)—к (8).

Возможны еще более запутанные и занятные осложнения и переплетения. Нужно тем не менее всегда тщательно различать предметную природу фундирующаго грунта от фундируемых наслоений, природу слова, как выражение объективного смысла, мысли, как сообщения того, что в нем выполняет его прямое «назначение», его ἔργον, от экспресивной роли слова, от его πάρεργον, от субъективных реакций на объективный смысл [1]). Как чумы или глупости надо, поэтому, бояться и остерегаться в особенности теорий, похваляющихся «объяснить» одно из другого, «происхождение» смысла разумного слова из бессмысленного вопля, «происхождение» понимания и разума из перепуганного дрожания и оскабленной

[1]) К уяснению терминов, которыми я пользуюсь в вышеизложенном, ср. мою статью Предмет и задачи этнической психологии в «Психологическом Обозрении» 1916 г., I—IV, и во Введении в этническую психологию, Вып. I, изд. «Колос», Пб. 1923.

судороги протоантропоса. Такое «объяснение» есть только занавешение срамной картинки голого неведения.

2

Приведенное расчленение восприятия слова только приблизительно намечает самые общие контуры его структуры. Каждый член ее—сложное переплетение актов сознания. Распутать эти узлы остается открытою проблемою принципиального анализа. Обратимся к установлению, также приблизительной, резюмирующей схемы соответствующего воспринимаемому *чистого предметного* остова словесной структуры, насколько это нужно для последующего.

Оставляя в стороне предметность слова «природную», сосредоточимся на том моменте, когда мы признаем в нем некоторую «вещь» порядка культурно-социального и исторического. Слово, по прежнему, остается некоторою чувственно-эмпирическою, чувственно воспринимаемою данностью, но теперь наряду с чистыми формами сочетания в нем чувственных качеств (Gestaltqualität, the form of combination) мы различаем новые формы сочетания *как бы служеб-*

ного значения. Повторяющиеся сочетания связываются уже со «значениями» каким-то неизвестным, подлежащим исследованию образом. (Утверждение, будто эта связь есть связь так называемой «асоциации», по меньшей мере, поверхностно,—оно просто теоретично, и, как всегда, гипотеза прикрывает незнание и лень узнать). Изучая эти формы сочетания, мы убеждаемся, что они или по преимуществу определяются естественными же (психофизическими) законами и соотношениями, несмотря на то, что «связаны» со «значениями», или, напротив, они определяются изменениями самих значений и внутренними отношениями значащего содержания. Этим общим направлениям меняющих формы тенденций не противоречит то, что первые формы иногда испытывают влияние со стороны вторых, связанных со значением [в особенности при оформлении неартикулированного вздоха (ὁρμή) в артикулированный (ἔναρθος) и потому также ἐγγράμματος], а вторые могут модифицироваться под давлением феноменов психофизического характера. Не следует также думать, что второго рода формы «связаны» со значением так, что сами являются «словами»,

т.-е. прямо являются носителями смысла. Такова только та група этих форм, которая получила название форм корневых. Другая група — форм приставочных — может быть носителем смысла (например, в китайском—cī, ćè, sò, tī, etc., частью в аглютинирующих), но эти формы могут быть и просто «характерами» или «характеристиками», синсемантиками, потерявшими самостоятельный смысл, но «осмысленными» в другом значении: в значении примет, указывающих на отношения так сказать внутри смысла, внутри содержания и его собственных логических, синтаксических и онтологических форм.

В интересах ясности различения и во избежание указанной эквивокации слова «смысл», следует тщательно наблюдать за тем, идет речь о самодовлеющей звуковой форме самого значения (смысла) или о служебно-граматическом значении (роли) этой формы. Эти формы, корневые и приставочные, и суть преимущественно морфологические в тесном смысле формы; первые же формы, в своей формальности не обусловленные и не мотивированные смыслом, суть формы сочетания фонетические. Нетрудно

видеть, что фонетические формы в общем до такой степени свободны от подчинения законам смысла, что влияние на них последнего, в общем же, можно игнорировать. Это важно признать принципиально, потому что если в частности иногда и констатируется более тесная связь значения и фонемы, то из этого не следует, что между ними есть отношение, позволяющее строить общие гипотезы о натуральной связи фонемы с значением, ссылаясь, например, на звукоподражательное образование слов, на экспресивно-эмоциональную роль звуков итп. Напротив, морфема, как звуковое образование, будучи всецело подчинена законам фонетики, не без труда освобождается и от давления смысла. Она может до известной степени, как лава, затвердеть и сковать собою смысл, но он под ее поверхностью клокочет и сохраняет свой пламень. Исторические и археологические раскопки раскрывают его динамику и движение, но иногда и просто удачное применение слова,—особенно в поэтической речи,—напоминает нам о живом духе, бьющемся под окаменевшими морщинами морфемы. Приставочные морфемы окаменевают «скорее» и безнадежнее, их смысловое

одушевление рассеивается и как бы атрофируется, вследствие чего их роль и сводится преимущественно к роли примет и характеристик.

Таким образом, фонема в силу своей прямой причастности природе и независимости от смысла еще не конструирует слова, как такого. Что касается морфемы, то если ей и можно приписать такую способность, то, как ясно из предыдущего, только в силу ее более интимной связи со смыслом (мыслью), как таким. Морфема — первая ступень от чувственного к мысленному, верхнее платье смысла, первая точка опоры для рычага понимания. Но, чтобы она была такой, чтобы она была первою ступенью, нужно, чтобы она не была единственною, чтобы она была слита в одно целое с последующими ступенями, чтобы она была включена в контекст подлинных и непосредственных форм самого смысла, как такого. Не только, как примета, приставочная морфема, но и корневая морфема, вообще морфема, чтобы преодолеть свою статичность, должна быть членом контекста, динамические законы которого конструируются по формам синтаксическим и логи-

ческим. Это самоочевидно, но об этом нужно напомнить, чтобы сделать вывод, вынуждаемый этою самоочевидностью.

Дело в том, что применение термина «значение» к тому, что «обозначается» изолированным, не в контексте взятым словом, как вытекает из сказанного, не точно. Изолированное слово, строго говоря, лишено смысла, оно не есть λόγος. Оно не есть слово сообщения, хотя и есть уже средство общения. Полезно припомнить и поставить в паралель с этим различением различение стоиков между λόγος и λέξις, где логос—звук с осмысленным значением, а лексис—только членораздельный звук (иначе, чем у Аристотеля, у которого лексис—всякое высказывание, утвердительное, приказывающее, молитвенное ипр.). Соответственно, и то, что «обозначается», «указывается», есть не «смысл» (не ἔννοια), а λεκτόν (dicibile). В точном смысле dicibile ничего не «значит», оно может только «относиться», «указывать на», «называть» вещь (res).

Если здесь можно говорить о «значении», то не об «осмысливающем значении», а об указывающем и номинативном. Значение должно

быть сопоставляемо здесь не со смыслом, а с замыслом, намерением, некоторою целью. Слово здесь — только средство, орудие, инструмент, которым в передаче смысла сообщения можно воспользоваться в самых разнообразных направлениях и многочисленными способами. «Значение» здесь - в возможности им пользоваться, применять его, значение прагматическое, а не поэтическое и познавательное. Им можно воспользоваться для сообщения, но также для приказания, мольбы, вопрошания, и пр. (каковые различения, впрочем, мы в этом предварительном кратком изложении оставляем в стороне, ибо сообщающая функция слова не только важнейшая, но и фундирующая остальные).

Таким образом, это «значение» слова также следует отличать от смысла, как отличается значение-смысл и от значения-важности. В таком виде, т.-е. как номинативная возможность, слово помещается в лексиконы. Словарь не есть, в точном смысле, собрание или перечень слов с их значениями-смыслами, а есть перечисление имен языка, называющих вещи, свойства, действия, отношения, состояния, и притом

в форме всех граматических категорий: субстантивной, глагольной, препозиционной, любой, — всё то, следовательно, что обозначается философским термином r e s или e n s. Лексикон, поэтому, и в этом аспекте можно назвать алфавитно-расположенными «реалиями» (realia). Мы спрашиваем: «что з н а ч и т pisum?» и отвечаем: «pisum з н а ч и т горох», но в то же время спрашиваем: «к а к по латыни или к а к в ботанике горох?» и отвечаем «Pisum», т.-е. собственно в этом обороте речи подразумевается: «как н а з ы в а е т с я итр.». «Горох», следовательно, не есть значение-смысл слова pisum.

Но и дальше, если «предложение» («суждение») определяется только синтаксической формою, то не все предложения суть λόγοι, т.-е. имеют значение-смысл. Обратно, если предложение непременно включает в себя смысл, такие словарные словосочетания, «фразы», как «pisum — горох», «die Stadt — город», не суть предложения. А фразы типа: «горох есть стручковатое растение» или «горох есть род растений из семейства бобовых» должны рассматриваться то, как фразы б е з с м ы с л а («осмысленные» только телеологически или прагма-

тически), то, как предложения (со смыслом), в зависимости от того, пользуемся, — (поэтому-то «сами по себе», изолированно они и имеют только служебное, инструментальное «значение»),—мы ими, как номинальными (называющими «вещь») и класификационными определениями, или, как объяснительными, например, предложениями, одушевляющими фразу смыслом через «включение» вида в род. То или иное применение фразы определяется опять-таки контекстом. Простейший способ создать контекст будет, например, сказать: «Горох есть стручковатое растение» есть номинальное определение», каковой оборот в практике речи сплошь и рядом просто «подразумевается». Тогда сразу понятно (если новая фраза не есть опять номинальное определение, которое можно таким образом спускать ad infinitum), почему фраза «горох есть стручковатое растение» лишена смысла, — это есть просто лексис.

В некоторых герменевтиках предлагалось говорить о «значении» слова, когда оно помещено в лексиконе или берется изолированно, и о «смысле» —в связной речи. Это и непрактично и теоретически необосновано, потому что «зна-

чение», как термин, с его разными смыслами — не только омоним, но и модус супозиции. Мы будем различать номинативную функцию слова, resp. номинальную предметность слова, и функцию семасиологическую, resp. смысловую предметность. Nomen, название, как такое, есть эмпирическая, чувственно-воспринимаемая вещь. Оно есть знак, signum, связанный с называемой вещью не в акте мысли, а в акте восприятия и представления. Если угодно, можно назвать эту связь асоциативною, не для «объяснения», а для того, чтобы у называемого факта, «вещи» было свое «название», «указывающее» на то, что эта связь не связь мышления, resp. суждения, а связь автоматически-чувственная. Ее может «устанавливать», «переживать», испытывать и субъект не-мыслящий, например животное (если оно есть существо немыслящее). Вещь, например, зрительно и осязательно данная (топор, этот человек) асоциативно связана с вещью, данной слуху (со звуками: «топор», «Алексей»). Асоциация—по смежности, в редких случаях—по сходству (ку-ку — кукушка). Таким образом, слово, как средство, орудие, в его номинативной функции есть просто чув-

ственно-воспринимаемая вещь, вступающая в чувственно-воспринимаемую связь с другою чувственно-воспринимаемою вещью. Нужно-ли добавлять, что в номинативном (не номинальном) предложении или суждении, в которое номинация входит, как подлинный смысл, как семасиологическое одушевление, мы уже имеем дело с другой функцией слова,—с другой ступенью, и с другим предметным моментом в структуре самого слова.

Оставляю в стороне другие образования и супозиции слова в его номинативном качестве, хотя они весьма интересны, и для полного учета эстетических свойств слова нужны и поучительны. Например, «горох ппр.» служил мне в моем изложении «примером», т.-е. опять новое прагматическое, но не смысловое «значение» слова, новая прагматическая супозиция; или почему я взял в пример «горох»?—потому что, например, надоело замызганное в логиках и психологиках «яблоко», а может быть и по более сложным и «глубокомысленным» соображениям, может быть, по случайной асоциации, итп.,—всё это психологическое, «личное», субъективное обрастание, ek parergou, но не вокруг

смысловой, а около той же номинативной функции слова, направленной на вещно (res) предметный момент словесной структуры. Все эти «субтильности» требуют особой и специальной работы. Моя задача — только самая общая, минимальная схема.

3
А

Дальше как будто легче; эквивокаций и омонимов не меньше, но разобраться в них проще, и их отношения нагляднее и яснее, потому что от чувственного переходим к умственному.

Когда мы слышим из уст N слово, которое воспринимаем, как номинальный знак вещи, мы не только обращаемся к этой вещи—наличной или вспоминаемой. Бывает, что и вещи этой нет на лицо, и не вспоминается ничего конкретно-определенного (если еще сама вещь конкретна) или мы даже и не знаем, какая определенная вещь названа. Собственно даже, если нет прямого указания (например, указательным пальцем, тростью итп.), которое может дать повод к возникновению у нас приблизительно такого представления вещи, какое имеется у N,

то мы никогда не знаем, какую именно вещь называет N, какое у него представление ее и о ней. Сам N, называя вещи, если он пользуется не только собственными, но и нарицательными именами, называет их неопределенно, т.-е. и он это делает и нас заставляет относить названия к целому ряду, к групе или множеству вещей, так что и для него и для нас, с точки зрения познания и понимания, безразлично, какая вещь будет представлена. Существенно только то, что N, называя, и я, слыша слово-название, будем подразумевать под словом одно и то же. Это есть предмет, о котором идет речь, о котором высказывается «слово». При всем многообразии потенциально называемых вещей, они относятся к одному формальному единству,—онтическому, или единству предмета. По своим формальным качествам и по отношению к другим предметам, предмет характеризуется как род, вид, клас, итп. Предмет может быть также конкретным, абстрактным, колективным, вещественным (масло, кислород итп.) итд.

В структуре слова — новый предметный момент, не чувственного восприятия, а умствен-

ного, интелектуального. Слово теперь относится не к чувственной, а к интелектуальной данности. Слово указывает теперь на нечто, презентирующее, достигаемое не по указательному персту, не по чувственной, а по интелектуальной интуиции. То, на что теперь указывает слово, подразумевается под ним, под словом подразумевается предмет. Его подразумевает N, и его подразумеваем мы; он его «имеет в виду», и мы его «имеем в виду».

Подразумевание и подразумеваемое не надо смешивать с уразумением и уразумеваемым, что́ относится уже к смыслу, к семантическим функциям и к семантической предметности (не онтической и формальной, не рассудочной, а «материальной», разумной). Подразумевание — не понимание, а только понятие, как по-ятие, схватывание, объятие, концепирование, имение в виду. Ничего — о содержании и значении-смысле, только об объеме и форме,—если и о значении, то только в смысле «места» в какой-то формальной же системе.

Говорим: «подразумевается» — не субъектом-лицом, не N, не «нами», а самим словом и в самом слове. «Подразумевается» то, к чему слово

относится «само», абсолютно независимо от высказывающего, переживающего, от X веселого или грустного, X скучного или озорника, X скептического или циинического, X лгуна или невежды.

«Предмет» подразумеваемый есть только некоторый пункт внимания, «нечто», задаваемая тема. Выполнение, осуществление (по содержанию), разработка темы есть дело дальнейшее, предполагающее новые данности, новые функции, новые углубления и «ступени». Предмет только вопрос, даже загадка, x, условия для раскрытия коего еще должны быть даны и постигнуты какими-то другими способами.

Говорят, что под словом или за словом подразумевается «понятие». Можно, конечно,—лишь бы под понятием подразумевался «предмет», как он характеризован, а не «представлялось» «переживание». Лучше, во избежание этой передержки, называть п о н я т и е м само с л о в о в его форме терминированной, в отличие от формы «обыденного» и «поэтического» словоупотребления, и в его функции именно понятия, как по-ятия, концииирования, подразумевания. Понятие, тогда, есть слово, поскольку под ним нечто (предмет) подразумевается.

Часто смешивают «предмет» и «вещь». И действительно, вещь есть предмет реальный, и предмет есть вещь идеальная. Но именно эти терминирующие эпитеты: реальный и идеальный показывают направление, в котором их нужно различать. Всякая действительно, эмпирически, реально существующая вещь, реальное лицо, реальное свойство, действие, итп., суть вещи. Предметы — возможности, их бытие идеальное. Сказать, например, что число π есть «вещь математическая» не бессмысленно, если только подразумевать: число π, -1, i или эллипсоид, псевдо-сферическая поверхность, итд. суть «вещи идеальные», только возможные (по принципу противоречия), мыслимые. Очевидно—злоупотребление терминами в метафизике, когда «идеальная вещь», возможная, мыслимая объявляется вещью «реальной». Реализация идеального, как сказано, сложный процес раскрытия смысла, содержания,— перевод в эмпирическое, единственно действительное бытие,—а не пустопорожнее гипостазирование, т.-е. со стороны предметной— взращивание капусты в облаках, со стороны функций—шлепанье губами.

Но именно потому, что предмет может быть реализован, наполнен содержанием, овеществлен, и через слово же ему будет сообщен также смысл, он и есть формальное образующее начало этого смысла. Предмет групирует и оформляет слово, как сообщение и как высказывание вообще. Он держит в себе содержание, формируя его со стороны семасиологической, он «носитель» смысла и он переформирует номинальные формы, скрепляет их, утверждает, фиксирует. Если бы под словом не подразумевался предмет, сковывающий и цементирующий вещи в единство мыслимой формы, они рассыпались бы под своим названием, как сыпется с ладони песок, стоит только сжать наполненную им руку.

Предмет есть подразумеваемая форма называемых вещей, конкретная т е м а, поскольку он извлекается из под словесно-номинальной оболочки, но не отдирается от нее. И предмет есть сущий (в идеальной возможности) носитель свойств, качеств, существенных, атрибутивных, модальных, поскольку он берется о т в л е ч е н н о от словесного своего обличия, от словесного знака его идеального достоинства. Предмет есть

объект и субъект вместе; он есть формально и materia circa quam и materia in qua. И только materia ex qua дается не через подразумевание, а через новую функцию в восприятии слова.

Сфера предмета есть сфера чистых онтологических форм, сфера формально-мыслимого.

В

Было сказано, что N, называя «вещи», подразумевает под названием «предмет», «схватывает» его, «постигает», «ймет» или «объемлет», «конципирует». А за N то же делаем и мы, воспринимая «название». Может показаться, что «подразумевание» и «конципирование» — акты не обоюдные в данном случае, а лишь взаимные: например, N «подразумевает», а мы «конципируем». Чтобы не создавать из этого ненужного затруднения, достаточно только сослаться на то, что N, называя нечто нам, тем самым называет его и для себя, и только с этого момента и начинает «подразумевать» и «конципировать». Следовательно, акты эти, действительно, обоюдные, а не взаимные.

Но есть в этом сомнении другая, более интересная, сторона. Если подразумевание идет че-

рез название, то не является ли концепирование чистым постижением предмета? Или, обратно, быть может, концепирование возможно только через название, а подразумевание может быть и чистым?

Это — вопрос о чистом предмете, как чистом мыслимом. Его запутали с двух сторон, и запутывают еще больше, когда хотят для обеих сторон непременно однородного решения. Чистота предмета есть (a) чистота от чувственного содержания, (b) чистота от словесной формы (или формулы).

(a) Как мыслимый, он конечно и необходимо должен быть чист от чувственного, в противном случае мы должны были бы допустить, что мы и мыслим чувственно, т.-е., примерно, бодрствуя спим. Логически ясное расчленение запутывают, однако, генеалогическим любопытством.

Логика понимания «из происхождения» — та же, что в аргументе, который пишущему это пришлось слышать от одного близкого ему юного существа, изобразившего в диктанте «щепку» через «ять» и мотивировавшего это тем, что «щЄпка происходит от полЄна».

Оставляя в стороне, по причине их вздорности, все теории происхождения, в том числе и теорию происхождения мысли из чувства, признаем, что поводом для мысли является всё же именно чувственно данное. Оно — трамплин, от него мы вскидываемся к «чистому предмету». Там мы ходим как по вершинам гор—не нужно смотреть вниз, иначе начинается головокружение. Некоторые считают, что нельзя всё-таки вовсе отвязаться от чувственных приправ представления, и ссылаются на «переживания» (например, американский психолог Тичнер). Отдадим им этот жизненный преферанс «богатого воображения», всё же приправа не есть существо, и мысль остается мыслью, независимо от того, подается к ней соя или не подается.

(b) Другое дело — предмет чистый от словесного субстрата. Нельзя этот вопрос решать по аналогии с первым. Оттолкнувшись от трамплина, мысль должна не только преодолевать вещественное сопротивление, но им же и пользоваться, как поддерживающей ее средою. Если бы она потащила за собою весь свой вещный багаж, высоко она не взлетела бы. Но также ни в абсолютной пустоте, ни в абсолютной бес-

форменности, т.-е. без целесообразного приспособления своей формы к среде, она удержаться в идеальной сфере не могла бы. Ее образ, форма, облик, идеальная плоть есть слово.

Без-чувственная мысль — нормально; это — мысль, возвысившаяся над бестиальным переживанием. Без-словесная мысль—патология; это—мысль, которая не может родиться, она застряла в воспаленной утробе и там разлагается в гное.

Поэт, понимавший, что такое мысль лучше многих «мыслителей» и знавший силу слова, утверждал: «я не верю, чтобы какая-либо мысль, справедливо так называемая, была вне пределов речи» (Эдгар По). Он ошибался только в том, будто мысли «укладываются» в речь, как новорожденный пеленается, а родятся они, значит, голыми. Слова—не свивальники мысли, а ее плоть. Мысль рождается в слове и вместе с ним. Даже и этого мало, — мысль зачинается в слове. Оттого-то и нет мертворожденных мыслей, а только мертвые слова; нет пустых мыслей, а только — пустые слова; нет позорных мыслей, а только — позорные слова; нет потрясающих мир мыслей, а только—слова. Ничтожество, величие, пошлость, красота, глупость, коварство, бедность, истина,

ложь, бесстыдство, искренность, предательство, любовь, ум,—всё это предикаты слов, а не мыслей, т.-е., разумею, предикаты конкретные и реальные, а не метафорические. Все качества слова приписываются мысли лишь метафорически.

Строго и серьезно, без романтических затей, — бессловесное мышление есть бессмысленное слово. И на земле, и на водах, и на небе всем правит слово. Логика, т.-е. наука о слове, есть величайшее могущество на земле и в небесах. Алогизм, как система,— умственный атеизм; алогист — пустая душа, лишенная чувства словесной благодати. Алогизм, как переживание,—наказание, налагаемое отрицаемым богом за преступление против него; алогист — в прогресивном параличе мысли, как следствии легкомысленного его словесного нецеломудрия. Смирительная рубашка логики — мучительный алогиста бред!

Вывод из всего сказанного короткий: чистый предмет, как предмет мыслимый, будучи рассматриваем вне словесной формы своей данности, есть абстракция. Конкретно он дан нам только в словесной логической форме. Разумеется, это не мешает устанавливать конкрет-

ные отношения, так сказать, внутри формальных онтических образований, как членов целого, подобно тому, как ничто не мешает рассматривать, как конкретные формообразования, геологическое строение земли и после того, как мы отвлекаемся от ее флоры и фауны. Земля без ее флоры и фауны есть отвлеченная земля по своему б ы т и ю, но для рассмотрения она конкретная связь конкретных членов. Чистый предмет—член в структуре слова. Вынутый из слова, он—часть целого и постольку сохраняет конкретность, но своей жизни, вне слова, он не имеет, и постольку он—отвлеченность.

Беря «предмет» в структуре слова, мы признаем в нем форму и формообразующее начало того вещественного содержания, которое N называет, именует. Наименованием это же содержание оформляется с другой стороны, фонетической, сигнификационной. Оно вкладывается в рамки определенной морфемы. Из этого следует то, что явно и само по себе. Между формами онтическими (вместе с оформленным содержанием) и между формами морфологическими (с их содержанием, которое то же, что и у онтических форм) вклинивается, к а к с и с т е м а о т-

ношений между ними, сплетение новых форм, именно форм логических. В понимании того, что говорит N, на них теперь и сосредоточивается умственное наше напряжение. В эти новые формы для нас теперь целиком и переливается всё содержание того, что сообщает N, и мы следим, — «замечаем», где-то на втором плане сознания отмечаем, — за колебаниями морфем и онтических форм лишь постольку, поскольку перемены в них модифицируют логические формы самого смысла. Когда мы вновь переносим на них удар внимания, или они сами вынуждают нас к тому своей «неожиданной неправильностью», гротескностью, уродством или, наоборот, неожиданно чарующей прелестью, мы теряем равновесие «понимания», и смысл, как такой, ускользает от нас.

Необходимо подчеркнуть, однако, что, конципируя чисто логические формы, мы их не только конципируем. Ибо, говоря тут же о понимании в собственном смысле, мы хотим сказать, что мы понимаем вместе с конципированием, но не всецело через него. Если бы мы только конципировали, мы получали бы только «понятия», концепты, т.-е. схемы смысла, русло,

но не само течение смысла по этому руслу. Итак, логические формы, как концептивные формы, только абстракция. Они, как «чистые» формы, отвлечены от собственного содержания. В этом «чистом» виде они, строго говоря, и не логические, а только логистические, — и наука правильно отличает теперь Логику от Логистики. Поэтому, настоящие логические формы должны мыслиться лежащими между морфемами и онтическими формами, мыслимыми вместе с их содержанием. Они суть отношения между морфемами, как формами вещного называемого содержания, и онтическими формами, как формами предметного подразумеваемого содержания. Они сами конкретны, как формы смыслового содержания. Они, следовательно, суть «отношения», термины которого: языковая эмпирическая форма слова и принципиальный идеальный смысл. Как такие, они именно и терминируют изложение, resp. познание, т.-е. логически его конструируют. Логические формы суть формы конструирующие или конструктивные, созидающие и дающие (id.: «передающие», сообщающие, «воспроизводящие») в отличие от онтологических — «данных», «созданных» и

только рефлексивных, хотя и конститутивных вещей. Прицепляясь к Гумбольтовскому формальному определению, я называю логические формы внутренними формами речи.

Действительно, если признать морфологические формы слова формами внешними, а онтические формы называемых вещей условиться называть формами чистыми, то лежащие между ними формы логические и будут формами внутренними, как по отношению к первым, так и по отношению ко вторым, потому что и в этом последнем случае «содержание» предмета есть «внутреннее», прикрываемое его чистыми формами содержание, которое, будучи внутренно-логически оформлено, и есть смысл. Логические формы суть внутренние формы, как формы идеального смысла, выражаемого и сообщаемого; онтические формы суть чистые формы сущего и возможного вещного содержания.

Отсюда-то и возникает такое тонкое соответствие логических и онтологических форм, что его делают критерием логической истинности высказываний, с одной стороны, и что оно приводит, с другой стороны, к сбивчивому распре-

делению задач логики и онтологии, вследствие чего, например, законы тожества, противоречия инр. то трактуются, как законы логические, то как законы онтологические, само понятие то отожествляется с предметом или его «сущностью», то с каким-то особым «логическим» умообразованием, итд. В действительности, между ними—строгое соответствие, и всегда возможен перевод с языка логики на язык онтологии, и обратно. Можно было бы составить такой лексикон: предмет—термин, свойство—признак, род—общий термин, индивид—единичный термин, положение вещей (Sachverhalt)—положение (Satz), включение — сказуемость, обстояние — истинность, причинность — винословность, объективный порядок — метод, итд., итд. Указанная сбивчивость распределения задач сделала многие термины тожественными, а другие просто путаются, мешают ходу или задерживаются, где их, хотя бы незаконно, но гостеприимно приласкают. Сходный паралелизм терминов можно также частично отметить и в направлении от логики к граматике. Недаром учителя граматики, серьезно предупредив, что есть разница между логическим и граматическим разбором,

затем, сообща с юным стадом своим, пускаются в самые веселые логические авантюры. Не до шуток им, зато, когда из-под масок логических и граматических субъектов начинают вылезать рогатые рожи еще и психологических субъектов, которых здоровые и трезвые люди никогда и не видели, ни во сне, ни на яву. Психологический «субъект» без вида на жительство и без физиологического организма есть просто выходец из неизвестного нам света, где субъекты не живут и физиологических функций не отправляют. Психологического в таком субъекте—одно навождение, и стоит его принять за всамделешного, он непременно втащит за собою еще большее диво — психологическое сказуемое!..

Подчеркиваемое мною соответствие логических и онтологических форм не нужно всё-таки понимать, как их полное совпадение. Онтологические формы — формы всего сущего и всякого содержания, тогда как логические формы— формы существенного смысла, следовательно, в методологическом применении, формы категориально отобранные и отбираемые. Кроме того, онтологические формы вскрываются уже в но-

минативной функции слова, в простом подразумевании, и это сказывается в их спокойном безразличии к своему содержанию, в их, можно сказать, небрезгливости ко всякому содержанию. Напротив, логические формы разборчивы, воспитаны, и действуют только при наличии особой санкции—смысловой. В номинальной функции, как такой, они еще не содержатся, требуется особый акт для их самоутверждения. Этот акт есть акт утверждения или отрицания, акт установления или положения (Setzung). Вследствие этого положение (Satz) и есть фундаментальная форма, которая лежит в основе всей логики. Модификации самого слова, как высказывания, логически суть модификации положения, как такого Функция слова здесь, в отличие от его номинативной функции, должна быть названа устанавливающей (ср. выше о «конструкции»), полагающей, или, по крайней мере, предицирующей. Соответственно можно сказать, что внутренняя логическая форма слова так же отличается от чистой онтической, как предикативная функция слова в целом—от его номинативной функции, также в целом.

Специальное развитие намеченного здесь

только в самых общих чертах есть уже изложение самой логики, как я ее понимаю и определяю, т.-е., как науки о слове (логосе), именно о внутренних формах словесного выражения (изложения).

Примечание. Собственно, называние, как также установление (Setzung), где предикатом служит имя, формально есть уже логическая функция. Только поэтому и возможно, что наименование есть не просто чувственный акт (например, асоциативная связь двух чувственных комплексов, восприятий или представлений), а акт умственный — подразумевание. Особенность наименования, как предикации — в том, что предметность предиката здесь не вещная, а именно номинативная. (Ср. к этому ниже следующие замечания об онтическом характере синтаксических форм).

С
а

Определение «слова», из которого я исхожу, обнимает всякое, как автосемантическое, так и синсемантическое языковое явление. Это опре-

деление настолько широко, что оно должно обнять собою как всякое изолированное слово, «словарный материал», так и связное, следовательно, период, предложение, так же, как и любой их органический член или произвольно установленную часть. Я прибег к такому определению, чтобы сберечь место, иначе необходимое для доказательства того, что действительно, какую бы конкретную часть из целого человеческой речи мы ни выделили, в ней хотя бы виртуально заключены свойства, функции и отношения целого. Логика, между прочим, давно уже извлекает пользу из той мысли, что «суждение» (предложение собственно) есть «понятие» (термин) explicite, а понятие есть суждение implicite. Такая общая предпосылка и дала мне возможность поместить логические формы в простое отношение между морфологическими и онтическими формами предметного содержания. Так как в широком смысле термином морфология пользуются, включая в нее и учение о формах «предложения», т.-е. учение о синтаксических формах, то специальный вопрос о роли последних в структуре слова, как будто, решался простым включением этих форм в мор-

фологические. Но, во-первых, морфему в тесном смысле всё же нужно отличать от, скажем, синтагмы, хотя бы последняя не имела иного телесного носителя, кроме морфемы, и хотя бы морфема сама определялась только из наблюдения над синтаксическою динамикою слова, а во-вторых, в синтагмах, как формах, имеются свои особенности, которых без некоторого хотя бы уяснения оставить нельзя.

Было бы самым простым, в развитие предлагаемой мною схемы, поместить синтаксические формы *между* формами морфологическими в узком смысле и логическими. Исходя из природы самой синтаксической формы, можно было бы убедительно мотивировать предназначаемое ей таким образом место. С другой стороны, непосредственно видно, что и положение логических форм вполне прояснится лишь тогда, когда мы их сопоставим прямо с формами синтаксическими и, следовательно, динамическими, а не с неопределенно морфологическими формами или с определенными чистыми морфемами, всегда статическими, — даже в своей истории (эмпирической). Роль и положение логических форм и не осуществляются в живом языке и

не понятны без посредства синтаксических форм.

И действительно, такое представление о положении синтаксических форм не неправильно. Но оно ничего нам не даст, если мы будем понимать его слишком упрощенно, не входя в детали некоторых исключительных его особенностей. Если представить себе углубление от фонетической поверхности к семасиологическому ядру слова, как последовательное снимание облегающих это ядро слоев или одежек, то синтаксический слой облегает последующие причудливо вздымающимися складками, особенности которых тем не менее от последующего строения всей структуры не зависят и сами на нем не отражаются. Лишь взаимное отношение этого синтаксического и ближайшего логического слоя дает сложный своеобразный рисунок, отображающий на себе особенности строения названных складок. Или, если весь процес изображается как восхождение по ступеням, то оказывается, что со ступени синтаксической нельзя просто перешагнуть на логическую, а приходится перебираться с одной на другую по особым, иногда причудливо переброшенным соеди-

нительным мостам. Между формами синтаксическими и логическими происходит таким образом как бы з а д е р ж к а движения мысли, иногда приятная, иногда затрудняющая продвижение (задержка понимания), но такая, на которую нельзя не обратить внимания.

Вдумываясь в существо синтаксических форм и замечая, что и их особенности (как морфологические, так и акцентологические) исчерпываются чувственно воспринимаемыми эмпирическими свойствами, мы видим, что их отношение, как форм, к идеальным членам словесной структуры есть отношение не существенное и органическое, а только условно-конвенциональное. Это, конечно, есть знак, но знак н е т о л ь к о семасиологический или номинативный, н о т а к ж е симптоматический, скажем. Одна и та же фонема, resp. морфема, выступает и как знак значения и вещи, и как знак т о г о, ч т о о н а е с т ь э т о т з н а к. Это как бы nomen вещи и в то же время nomen nominis. Например, окончание винительного падежа указывает (называет и означает) не только вещь, на которую переходит действие другой, но также то, что название этой вещи занимает место «дополнения»

в данном предложении. Фонема и морфема «падежного окончания» являются, таким образом, признаком, симптомом его особого, «вторичного» номинативного значения, как бы второй производной в номинативной функции слова. Если вообразить язык, лишенный какого бы то ни было рода морфологических и синтаксических примет, можно было бы ввести две системы особых названий, акцентов, или просто индексов, прибавление которых к словам-именам языка указывало бы всякий раз роль их в аранжировке речи. Частично нечто аналогичное осуществляется в китайском языке, но в большей степени в задуманной Раймундом Лулием Ars magna или в ars characteristica combinatoria Лейбница, также в символической логике (логистике) и даже просто в математической условно-символической речи, которая пользуется не только знаками «вещей» и отношений между ними, но также знаками *своих действий* со своими знаками. Условимся, например, цифрами и строчными буквами обозначать приставочные морфемы, а прописными синтаксические формы, resp. синтаксическое место имени, и вообразим, что лексикон вещных имен в на-

шем языке состоит из букв и сочетаний букв греческой транскрипции. Тогда можно было бы получить следующие графические изображения:

пусть π — отец, στ—любить, υ — сын, тогда SnsπPps3στOasυ означало бы: о т е ц л ю б и т с ы н а, и, например, формулы OasπPps3στSnsυ, XvsπYis2στOasυ, SnsπPfs3στOapυ, должны означать: отца любит сын, отец, люби сына! отец будет любить сыновей. И при том, значение тут остается независимым от порядка символов π, στ, υ, каковой порядок при других условиях сам может служить синтаксическим знаком, что фактически имеет место в реальных языках.

Из этого примера видно, что синтаксические значения (SPOXY) отмечают, одновременно, 1, вещи и отношения (π, στ, υ), 2, морфемы, корневые (π, στ, υ) и приставочные (ns, ps2, etc). Но из него видно е щ е и д р у г о е: без синтаксических значков можно вполне обойтись, и тем не менее безошибочно читать и понимать наши формулы. Также и в реальном языке мы можем обходиться без синтаксических знаков синтаксического (quasi-логического наших граматик) ударения, интонации, порядка слов, пауз итп.

Это показывает, что синтаксические формы

для передачи смысловых и онтических отношений вещей в структуре слова принципиально не нужны. Они могут служить, при случае, даже помехой, задержкой пониманию. Одних морфологических форм для осмысленной речи было бы достаточно, от них переход к логическим формам так же прост, т.-е., логические формы могут так же хорошо обуздать морфологическую материю, как то делают и формы синтаксические, — что и ввергает граматиков в соблазн и грех измены синтаксису и прелюбодеяния с логикой...

Идеальная «ненужность» (не необходимость) синтаксических форм или реальная ненужность для них особых, помимо морфологических, знаков наперед предсказывает то, к чему мы сейчас придем иным путем. Синтаксические формы суть формы собственно не данные прямо во внешнем знаке, а суть формы подразумеваемые, «чистые», и, как такие, следовательно, формы онтологические sui generis. Их подразумеваемость и вскрывает их динамическую природу. Напротив, морфологические формы есть как бы статическое регистрирующее резюме из наблюдения живого в синтактисе языка. Син-

таксис—изложение, морфология—индекс и оглавление к нему.

Лишенным синтаксиса и построенным на одной логике языком может быть увлекся бы, как идеалом, ученый педантизм или правоблюстительный канцеляризм, но им решительно ступефицировалось бы всякое поэтическое чувство. Логика *для себя* приводила бы живые и вольные морфемы в порядок, можно сказать, каторжный. Но что делала бы граматика, которая понимала бы, что назначение слова не в том только, чтобы «логически сообщать», и что слово сообщает не только логически. Граматика, опирающаяся только на гетерономную силу, обрекает язык на каторгу. Синтаксические формы живого языка — шире логических, целиком в последние они не вливаются. Спрашивается, каким *идеальным нормам* подчинится то в свободной динамике языка, что заливает и затопляет своими волнами русло логики?

В самом языке должно быть свое свободное законодательство. Формы языкового построения, конструирования, порядка, уклада должны быть автономны. Их и надо отыскать в самом языке. Для этого не надо только забывать, что слово

есть не только знак, и в своем поведении определяется не только значимым. Слово есть также вещь и, следовательно, определяется также своими онтологическими законами. Его идеальная отнесенность двойная: сигнификационная и онтическая, прямая. Слово есть также «слово». «Слово» есть также название вещей-слов, и под ним подразумевается предмет — слово. Синтаксис изучает не слово, как слово о чем-то другом, а просто слово, т.-е., сам синтаксис есть слово о слове, о слове, как слове, о слове, как слововещи. Синтаксис изучает отличие этой «вещи» от всякой другой вещи, иновещи (например, отличие фонемы от всякой иной акусмы — откашливания, причмокивания, экпресивного тона, итд. [1]), и должен строго блюсти свое достоинство слова о слововещи в отличие от слов об иновещах, от других наук. В таком своем качестве синтаксис есть ничто иное, как онтология слова, — часть семиотики, онтологического учения о

[1]) Сама фонетика (как физиология звуков речи) этого не изучает, т.-е., не может обосновать, для нее фонема — данность. Обосновать отличия знака от «простого» звука может только семиотика.

знаках вообще. Если какой-либо представитель синтаксической науки выразит изумление перед тем, что он оказывается в объятиях онтологии, то придется поставить ему на вид, что он сам этого хотел, высвобождаясь из плена логики. Синтаксис, как формальная онтология слова, есть синтаксис «идеальный», если угодно, «универсальный», синтаксис же данного конкретного языка есть онтология материальная, применительно к форме бытия языка, как факта социального, исторического, онтология историческая. История языка должна ответить на вопрос об формах его эмпирического существования, развития, изменений, возникновения ипр.

Как формы исторические, синтагмы даны нам внешне, т.-е. имеют свое чувственное, внешнее обличие,—в самой ли морфеме соответствующей или в особом признаке: акцентуации, паузе, временной последовательности морфем, итд., хотя, как сказано, специальные знаки для них идеально не необходимы, так что они могут супонироваться другими внешними датами. Как формы онтологические, они даны идеально, в интелектуальной интуиции, т.-е. как формы чистые и

подразумеваемые. Синтагмы не конструктивны для своей науки, синтаксиса. Последний, слово о слове, как слове, должен иметь свою конструкцию, свою логику, повернувшись в сторону которой мы попадем опять в свою обычную общую логику. Здесь синтагмы только конститутивны для языка, как вещи, но не конструктивны для слова, как значащего, осмысленного знака.

Другой горизонт откроется, если мы теперь повернем в сторону конструктивного значения синтагмы, как формы выражения. Отношение последней, как такой, к внешним формам, т.-е, следовательно, между прочим, но и главным образом, к морфемам, должно дать своеобразный аналогон логическим формам, но еще не сами эти последние. Это — совсем особые синтагматические внутренние формы. Они должны быть согласно определения также конструктивными формами. Их отличие в том, что логические формы ими должны уже предполагаться, ибо, как сказано, через этот вход мы возвращаемся в общую обычную логику и самый синтаксис излагаем по правилам этой логики. Весь вопрос в том, остаются указанный

обход и возвращение в логику бесплодными, или мы возвращаемся, как из долины Есхола, с ветвью виноградной, гранатовыми яблоками и смоквами?

Несомненно, логические формы мы встретим те же, но новое отношение, в которое теперь станут синтагмы, не как простые тожества морфемы, а как чистые (автоонтологические) формы самого имени, к чистым онтологическим формам называемых вещей и обозначаемых смыслов, должно соответственно модифицироваться, т.-е должны соответственно модифицироваться сами логические формы. Разница между первоначальной внутренней логической формою и этою модифицированной формою может оставаться незамеченною, может казаться несущественною, пока прямо и открыто об ней не поставлен вопрос. Ибо, имея обычно дело именно с модифицированной формою и не подозревая ее модифицированности, мы не задаемся вопросом об этой модификации. Определение этой разницы, дифференциала двух логических форм и установление отношения его к первоначальной простой форме, укажет меру нового конструктивного обогащения речи.

Этот дифференциал и его отношения есть сфера новых форм, точно так же внутренних, как и логические формы. Назовем их, в отличие от чисто логических, внутренними дифференциальными формами языка. Они слагаются как бы в игре синтагм и логических форм между собою. Логические формы служат фундирующим основанием этой игры, и постольку в ней можно заметить идеальное постоянство и закономерность. Эмпирические синтагмы — доставляются капризом языка, составляют его улыбку и гримасы, и постольку эти формы игривы, вольны, подвижны и динамичны.

Это формы языка поэтические. Они суть отношения к логической форме дифференциала, устанавливаемого поэтом через приращение онтического значения синтагмы к логической форме. Они—производные от логических форм. Получается sui generis поэтическая логика, аналогон «логической»,—учение о внутренних формах поэтического выражения. У этих форм свое отношение к предмету, дифференцированное по сравнению с отношением логических форм, и постольку здесь

можно говорить об третьем роде истины. Рядом с истиной трансцендентальной (материальной) и логической получается истина поэтическая, как соответствие синтагмы предмету, хотя бы реально несуществующему, «фантастическому», фиктивному, но тем не менее логически оформленному. В игре поэтических форм может быть достигнута полная эмансипация от существующих вещей. Но свою sui generis логику эти вещи сохраняют. А вместе сохраняют и смысл, так как эмансипация от вещей не есть эмансипация от смысла, который на лицо, раз на лицо фундирующие игру фантазии логические формы.

Через конструкцию этих форм слово выполняет особую, свою—поэтическую—функцию. Рядом с синтагмой, ноэмой ипр., нужно говорить о поэмах, и соответственно о поэзах и вообще о поэтическом сознании. Наука, обнимающая эти проблемы, есть Поэтика. Ее понятие шире поэтической логики, потому что у нее есть также проблема поэтической фонетики, поэтической морфологии, поэтического синтаксиса (inventio), поэтической стилистики (dispositio), поэтической семасиологии, поэтиче-

ской риторики (elocutio) итп. Поэтика в широком смысле есть граматика поэтического языка и поэтической мысли. А с другой стороны, граматика мысли есть логика. Поэтическая логика, т.-е. логика поэтического языка, как учения о формах поэтического выражения мысли (изложения),—аналогон логике научной или терминированной мысли, т.-е. учения о формах научного изложения.

Примечание. В противоположность внешним формам звукового сочетаняя, поэтические формы также могут быть названы внутренними формами. В не всегда ясном изложении Гумбольта, которое можно толковать так и этак, стоит вдуматься в следующее, например, утверждение: в отличие от внешней формы и в противоположность ей характер языков состоит «в особом способе соединения мысли со звуками» (in der Art der Verbindung des Gedanken mit den Lauten [1]). Внутренняя поэти-

[1]) В общем всё же заимствую у Гумбольта только термин, а смысл влагаю свой.—Компетентный читатель припомнит противопоставление внешней и вну-

ческая форма непременно прикреплена к синтаксису. Иначе, как бы узнать ее? Иначе, была бы поэзия без слов!.. Следовательно, она дана в выражении синтагмы внешне и чувственно,—совершенно так же, конечно, как и деловая, житейская, прагматическая речь, и точно так же, как научная терминированная. Из их взаимного сравнения, противопоставления и отношения уясняется специфическая их природа и «законы» каждой.

Характер отношения внутренней формы к мысли осязательнее всего сказывается в «словах» и «фразах» (в смысле английских граматик и логик), неоправленных синтаксически, т.-е. в потенциальном состоянии внутренней формы. «Воздушный океан», «потрясение» имеют потенциальную внутреннюю форму, как и потенциальный смысл. Всякое слово лексикона—в таком положении. Внимание к «отдельному слову» или «образу», сосредоточение на них (в осо-

тренней формы в Поэтике Шерера, но сам же и заметит, что оно ни в какой связи с моим применением термина не находится (W. Scherer, Poetik, Brl. 1888, S. 226 ff.).

бенности со стороны поэта, лингвиста, логика), обнаруживает тенденцию актуализировать потенциальную силу слова. Это может привести к некоторому потенциальному предицированию и предложению. Так, лингвист, знающий этимологическое происхождение слов «стол», «истина» итд., может предицировать им их потенциально-этимологическое значение и «иметь в уме» соответствующее предложение. Так, и не-лингвист может приурочивать некоторые слова к первоначальному корню или к основе, поскольку то или иное словообразование кажется ему очевидным, например, когда он имеет дело с новообразованным переводным термином. В свое время некоторых смущало слово «влияние» (ввел Карамзин)—от «лить, вливать», а между тем—«влияние на кого». Для профана ясно: «понятие» от «по-ять». Итп. В таких «размышлениях», при отсутствии определенных синтаксически оформленных предложений, как будто образуется своя внутренняя форма из отношения «первоначального значения» (этимон) к употребительному лексико-логическому. Кажущаяся профану «нелепость» или «лепость» существования такого соотношения может мешать

или способствовать пониманию, может вызывать некоторое эстетическое или иное настроение.

На основании таких наблюдений Марти построил свое определение «внутренней формы». Для него именно само этимон легло в основу этого понятия, и он говорит о последнем, как о фигуральной внутренней форме (в отличие от конструктивной—распределения зараз схваченного во временной ряд). А в указанном наслоении, вызываемом нелепостью или лепостью отношения, он готов видеть даже «назначение» внутренней формы в слове: возбуждать эстетическое удовольствие и способствовать пониманию. Я думаю, что для обеих целей служат в слове различные «моменты» по-разному. Отчасти, это видно из данного изложения, а подробнее будет показано ниже в специальном отрывке о внутренней форме. В целом предполагаемое здесь учение о внутренней форме радикально отличается от учения Марти.

β

Поэтика—не эстетика и не часть и не глава эстетики. В этом не все отдают себе отчет.

Поэтика так же мало решает эстетические проблемы, как и синтаксис, как и логика. Поэтика есть дисциплина техническая. Как технично только учение о технике рисования, скульптуры, как технична «теория музыки», итп. Для поэта самого она заменяется практикою и упражнением, и потому практически поэту не нужна, как не нужна практически ученому логика, потому что у ученого также свое упражнение и своя научная техника. Только специальный интерес исправляет и логику и поэтику в теоретическое учение, и даже в философское. Поэтика должна быть учением о чувственных и внутренних формах (поэтического) слова (языка), независимо от того, эстетичны они или нет. Скорее, поэтика может войти в состав философии искусства, как дисциплины онтологической. Эстетика в собственном смысле есть учение об эстетическом сознании, корелативное онтологическому учению об эстетическом предмете (прекрасном, возвышенном, трагическом и пр.), полностью погружающемся в предмет художественного творчества и фантазии («фиктивный» предмет) вообще.

Проводя дальше аналогию между логиками

научного и поэтического мышления, можно отметить, что, как логика наук от элементов восходит к методам наук, так можно говорить о методах и приемах поэтического мышления. То и другое есть творческое мышление (конституирующее) и устанавливает разные типы методологии. Методологии творчества поэтических форм класифицируются, имея в основе свою класификацию предметов, так как предметы поэтические, как мы видели, особенные, «фиктивные» — эмансипированные от реального бытия, и смысл поэтический—тоже особый, «фиктивный»—id, cui existentiam non repugnare sumimus, utut revera eidem repugnet, ens fictum appellatur. Предметы поэтики—мотивы, сюжеты—должны иметь свое материальное оправдание и заполнение, свой смысл и содержание, как и предметы науки.

Не входя в детали дела, достаточно отметить, что указанное соответствие, корреспонденция методологий предмета действительного и поэтического, не случайный параллелизм, но и не обусловливаемый третьей общей «причиной», а есть внутреннее отношение, где реальная вещь есть фундирующее основание поэтической. Вся-

кий поэтический предмет есть также предмет реальный. Поэтому-то реализм и есть specificum всякой поэзии. А с другой стороны, так как, в силу сказанного, кореспонденция или сопоставление, «совпадение» принципиальны и существенны, то символизм также есть существенный признак всякой поэзии. Учение о поэтической методологии есть логика символа или символика. Это не та отвлеченная, чисто рассудочная символика, которая встретилась нам выше, как семиотика или Ars Lulliana, а символика поэтическая, фундамент всей эстетики слова, как учения об эстетическом сознании в его целом. Это—высшая ступень эстетического поэтического восхождения. Эстетическое сознание здесь пламенеет на высшей ступени поэтического проникновения в смысл сюжета (в содержание предмета), переплавляется в высшее поэтическое разумение.

Символ здесь не отвлечение и не отвлеченный признак, characteristicum, а конкретное отношение. Как логический смысл есть данное уразумеваемое в данном контексте, так символический смысл есть творимое разумное в творимом контексте. Логический смысл, смысл

слова в логической форме, есть отношение между вещами и предметами, вставленное в общий контекст такого отношения, которое в конечном счете есть мир, вся действительность. Он методически выполняется, осуществляется в изложении предмета, в разработке темы; материал же его—соответствующие вещи, в конечном счете, мир, действительность и их познание. Символический поэтический смысл, смысл слова в поэтической форме, есть отношение между логическим смыслом и синтагмами, как sui generis предметами (словесно-онтологическими формами).

Поэтому-то символ рождается только в переплетении синтагм, синтаксических форм, и форм логических, нося на себе всегда печать обоих терминов. Сфера поэтических символических форм — сфера величайшей, напряженнейшей, огненной жизни слова. Это — заросль, кипучая неистощимым жизнетворчеством слова. Мелькание, перебегание света, теней и блеска. Символическая семасиология—каскад огней всех цветов и яркости. Всякая симплифицирующая генетическая теория символов — ужимка обезьяны перед фейерверком. Чего требует от зрителя

развертывающееся перед ним творчество символов?

Любуйся ими и молчи!

В особенности опасны опыты выведения символа из «сходства». В основании сходства должно быть какое-то тожество,—идеальное в действительном или в идеальном же. Может сходствовать эмпирическое с эмпирическим, действительное с действительным, идеальное с идеальным, но не действительное с идеальным. А таков символ всегда, во всяком символе внешним символизуется внутреннее. Через символ внутреннее есть внешнее, идеальное—реальное, мысль—вещь. Через символ идеальная мертвая пустота превращается в живые вещи,—вот эти—пахнущие, красочные, звонкие, жизнерадостные вещи.

Питайся ими и молчи!

Символ—не сравнение, потому что сравнение не творчество, а только познание. Оно—в науке творчество, а в поэзии символ — творчество. Связанные символом термины скорее антитетичны, исключают друг друга, сеют раздор.

Сравнение может двоить смысл алегорически, в басне, притче, но не в «поэме», где не сравнение, а творчество, созидание «образа» из ничего. И путь этого творчества именно от ничего, от идеального, от внутреннего, от 0—к 1, к внешнему, реальному, ко всему. Fundamentum relationis в символе само может быть только идеальное, т.-е. опять-таки ничто, нуль. Сами же символы, как отношения, всё—ἓν καὶ πᾶν, космическая гармония вещей.

Внимай их пенью и молчи!

Истинно, истинно SILENTIUM—предмет последнего видения, над-интелектуального и над-интелигибельного, вполне реальное, ens realissimum. Silentium—верхний предел познания и бытия. Их слияние—не метафизическое игрушечное (с немецкой пружинкой внутри) тожество бытия и познания, не тайна (секрет) христианского полишинеля, а светлая радость, торжество света, всеблагая смерть, всеблагая, т.-е. которая ни за что не пощадит того, что должно умереть, без всякой, следовательно, надежды на его воскресенье, всеблагое испепеление всечеловече-

ской пошлости, тайна, открытая, как лазурь и золото неба, всеискупительная поэзия.

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих зыбей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам—
Небесная—к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре...

Поэтические формы суть творческие формы, суть символические формы, потому что, как указано, поэтические формы составляют аналогон логическим, а поэтический смысл символа—аналогон логического смысла. В логическом смысле имеет место отношение предмета и вещей (идеального и номинативно-реального), в символе — отношения идеальных (внутренних) логических форм и реальных языковых форм конкретного языка (синтагм). Символ и сам есть sui generis смысл,—оттого-то он есть и тожество «бытия» и «мысли»,—со-мысль и симболон. Аналогон логической предикатной функции в символе—quasi предикативность, ибо,—так как предмет поэтической формы онтологически нейтрален, отрешен, фиктивен, символ не

включает реализации познавательной и тем более прагматической. Формально можно было бы подняться на дыбы: это-то и есть «чистая» предикация,—безотносительно к бытию. Но так как логика познания, предполагающая это отнесение, уже забрала в свое ведение предикативные функции, то что же делать? Поэтическая предикация—только quasi-предикация, не установление (Setzung), а со-поставление (symbolon).

Если же брать символ, как самый смысл,—«второй» смысл,—то разница между символом и смыслом (разумно-логическим) без остатка растворится в творческих поэтических актах, распределится, разделится между ними, не уничтожая самого логического смысла, а лишь нейтрализуя и отрешая его. Так что, условно:

$$\frac{\text{σύμβολον}-\text{ἔννοια}}{\text{ποίησις}}, \text{ или}$$

$$\text{σύμβολον} \equiv \text{ἔννοια} \ (\text{mod. ποίησις})$$

Такова пародийно-математическая формула, quasi-формула, фиктивная формула художественного творчества, искусства. Если из изображаемого поэтически факта вычесть всё логически не-

обходимое, то вся индивидуальная обстановка факта падает на долю творчества, распределяясь между его отдельными актами. Положительная разница (+)—на долю фантазии; отрицательная(—)—на долю гипотез (научных, метафизических); равенство, т.-е. разница=0—голое копирование.

Д

Данность чистых и внутренних форм есть данность интелектуальная. Конципирование принято рассматривать не только, как характернейший акт интелекта, но даже как его единственно возможную деятельность. Отсюда — распространенные жалобы на формализм рассудочного познания и более или менее истерические усилия «преодолеть» его. Однако, с давних времен философы более наблюдательные различали в деятельности интелекта две функции: более «высокую» и более «низкую». Под последней и разумели преимущественно конципирующую, рассудочно-формальную деятельность. Первую выделяли под именем р а з у м а. Почти всегда под разумом понималась «способность», которая не одним только своим противопоставлением рас-

судку, но и положительными своими чертами, формально сближалась с «чувствами». Этого не сумел отнять у разума даже Кант.

Из существенных признаков разума отметим только нужные для последующего Они показывают, почему собственно деятельность разума квалифицировалась именно, как «высшая». Не точно, но настойчиво противопоставляли разум рассудку, как способность интуиции в противоположность дискурсии. Это неправильно, хотя бы уже потому, что и рассудок в основном покоится на интуиции: конципирование так же немыслимо без интелектуальной интуиции, как чувственное восприятие — без чувственной интуиции, и разумное понимание — без интуиции разумной или интелигибельной. С другой стороны, вообще поверхностно-глубокомысленное противопоставление интуиции и дискурсии имеет видимость оправдания только до тех пор, пока мы in abstracto резко противопоставляем процес постижения, «познания» и процес логического изложения, доказательства, передачи познанного другим. Но чем больше вдумываться в то, что само «постижение» мыслимо только в «выражениях», тем более становится ясно, что дискурсия

и есть ничто иное, как та же интуиция, только рассматриваемая не в изолированной отдельности каждого акта, а в их связи, течении, беге. Истинно только то в указанном противопоставлении, что формализм рассудка имеет дело с данностью абстрактивною, тогда как умозрение разума существенно направляется на предметность конкретную. Это с незатемнимою уже ясностью показал Гегель. И вот, этим-то разум входит в понятное сопоставление с чувством.

Тесно связана с этим, естественно возникающая из констатирования этих особенностей разума, склонность толковать предмет разума, как действительность по преимуществу. Так как разуму, далее, приписывается способность глубокого проникновения во внутрь вещей, к их «истинной природе»,—и этим уже он отличается от поверхностного соприкосновения чувств только с внешностью вещей,—то названная «действительность» определялась рискованным термином «истинной», «подлинной», «внутренней», «глубинной» итп., и вслед за тем гипостазировалась и утверждалась, как какая-то вторая «реальнейшая» действительность рядом с

чувственною или за нею. Но если умели раскрыть положительные черты этой действительности, то убеждались, что она — та самая, о которой свидетельствует постоянно наш опыт, что она—единственная вообще, как единственен и сам опыт, включающий в себя разум, а не прибавляющий его к себе, как дар, получаемый свыше за исполнение десяти заповедей Моисеевых и одной Христовой. Убеждались также в том, что если разумная действительность и имеет привилегии, то последние состоят только в том, что разумная действительность есть «критерий» действительности вообще. Сама глупость, действительная глупость, должна быть признана разумной, чтобы как-нибудь не обмануть нас и не заставить признать себя за илюзорную. Если же у разумной действительности положительных качеств не находили, а характеризовали ее только отрицаниями, «апофатически», то долблением словечка «нет, нет» ставили себя в положение той бабы, которая под руку мужику, сеявшему жито, твердила «мак, мак», а наблюдателя ставили в положение, когда разумным оставалось только повторить ответ мужика: «нехай буде так, нехай буде так». Не замечали, что, приписывая

разуму только апофатические способности, тем самым оснащали его качествами только формалистическими, и, следовательно, напрасно сердились на его слабость там, где следовало бы оплакивать собственное бессилие.

То, что дает разум, есть по преимуществу содержание. Основная ложь кантианского идеализма — в сенсуализме, в убеждении, будто содержание познания доставляется только чувственным материалом. Великое преимущество подхода к изучению познания конкретного, не отвлекающегося от слова, как действительного орудия познания, состоит в том, что при этом подходе нельзя упустить разумно-содержательного момента в структуре слово-понятия. Разум, то, что разумеет, и есть функция, направленная на усмотрение смысла. Его акты суть акты понимания, интелигибельной интуиции, направление на само содержание высказываемого N слова. Это—функция в восприятии слова по преимуществу семасиологическая.

В структуре слова его содержание, смысл, принципиально занимает совсем особое место в сравнении с другими членами структуры. Смысл не отделим, если воспользоваться уподоблением

этой структуры строению и сложению организма, от прочих членов, как отделимы костяк, мышечная система ипр. Он скорее напоминает наполнение кровеносной системы, он — питание, разносимое по всему организму, делающее возможным и нормальную деятельность его мозга-логики и радостную его поэтических органов чувств. С другой стороны, смысловое содержание можно уподобить той материи, которая заполняет собою пространства, из вращательного движения которой вокруг собственного центра тяжести и от конденсации которой складываются в систему хаотические туманности. Живой словарь языка—хаос, а значение изолированных слов — всегда только обрывки мысли, неопределенные туманности. Только распределяясь по тем многочисленным формам, о которых до сих пор была речь, смысл приобретает целесообразное органическое бытие.

Поэтому, строго говоря, и нельзя отдельно, отвлеченно, обсуждать самый смысл. О нем всё время идет речь, когда говорится о формах, потому что, если даже эти формы обсуждаются in abstracto, как «пустые», то всё-таки всегда имеется в виду их заполнение, и о них осмы-

сленно, не попусту можно говорить только применительно к их возможному содержанию. «Чистое» содержание еще бо́льшая отвлеченность и условность, чем «чистая» форма, еще более—указание тенденции анализа, чем «вещи», еще более имеет только регулятивное, а не предметно определяющее значение.

Чистый смысл, чистое содержание мысли, буквально и абсолютно, есть такая же невозможность, как и чистое чувственное содержание. Это есть только некоторое предельное понятие, ens imaginarium. Чистое содержание, как предмет анализа, есть содержание с убывающе малым для него значением формы. Это есть рассмотрение при минимальном внимании к формам. Это есть рассмотрение, когда остается одна только неопределенная «естественная» форма, которую отмыслить уже невозможно. Стоит попробовать представить себе какой-нибудь «цвет», независимо от предметных форм и отношений окрашенных поверхностей, чтобы убедиться, что представляемый цвет расстилается перед представляющим по какой-то поверхности и в пространственных формах, хотя бы неопределенных, расплывчатых и «на глазах» расходящихся.

То же самое по отношению к мысли. Как бы ни была она расплывчата и неуловима, она «дается» в чистом виде в формах, хотя неопределенных, сознания. Это всегда есть мысль, на что-нибудь направленная, хотя бы оно представлялось, как самое расплывчатое «нечто», «что-то», и оно-то уже—minimum той «естественной» формы, без которой мысль немыслима. Этот minimum формы онтологической бытием своим уже предполагает также хотя бы minimum формы логической. И, следовательно, minimum мысли постулирует уже хотя бы также minimum, некоторый эмбрион, «словесности». Поэтому-то так детски беспомощны попытки изобразить мысль бессловесную. Они рисуют мыслителя в виде какого-то глухонемого, погруженного в «чистое» мышление, как в клубы табачного дыма, и при том глухонемого не эмпирического живого, потому что последний непременно для мысли обладает своими средствами ее воплощения и передачи, а глухонемого бесплотного—не то ангела, не то беса.

Когда мы силимся представить себе просто «цвет», как чистое чувственное содержание, и «рассматриваем» его при этом на какой-то по-

верхности, мы и эту поверхность не представляем себе плоскою, и цветное содержание, которым мы ее покрываем, мы не представляем себе абсолютно устойчивым, статическим. Поверхность имеет кривизну и подсказывает себе какую-то плотность, непременно переводящую «взор» в третье измерение. Цветное содержание само кроме того дрожит, колеблется, складывается в складки и распускается, движется, простирается динамически во времени. И мыслимое содержание самого элементарного «нечто» мыслится динамически. Оно не помещается нами в пространстве, не уплотняется, и его аналогон времени—не само время, но всё же оно также динамично и требует углубления в свою предметность. Оно, говорим мы, *диалектично*.

Отсюда особенности «естественной» формы мыслимого. Оно не только расплывается и склубляется вокруг какого-то центра тяжести складывающегося смысла, пока тот окончательно не закреплен и не фиксирован контекстом, но всегда носит на себе, так сказать, историю своего сложения. Как всякая вещь, даже в природе, не только есть вещь, похожая на другие или отличная от них, но еще имеющая и носящая на себе

свою историю. Смысл есть также исторический, точнее, диалектический акумулятор мыслей, готовый всегда передать свой мыслительный заряд на должный приемник. Всякий смысл таит в себе длинную «историю» изменений значений (Bedeutungswandel).

Не нужно в принципиальном рассуждении понимать эту историю эмпирически, слишком эмпирически. Не следует забывать, что в самом эмпирическом изложении названная история не может быть раскрыта, если она не имеет под собою принципиальных оснований. Именно потому, что эмпирическое языкознание таких оснований не знало, оно и запутывалось в такой простой вещи, как разница и отношение между смыслом, представлением и вещами в их истории. То, что до сих пор излагают, как «историю значений», в значительной части есть история самих вещей, перемены в способах употребления их, вообще б ы т а, но не «история» смыслов, как идеальных констелляций мысли. Поэтому-то, в действительности, до сих пор у нас нет не только «истории значений»,—(собственно словообразования или словопроизводства — из этимон), — но нет даже принципов класификации

возможных изменений значений. Опыты Пауля, Бреаля, Вунта—решительно неудачны. Не говоря уже о смешении названия со «словом», вещи и представления со смыслом, в них смешиваются в качестве принципиальных формы логические с поэтическими. Между тем смысл разливается и по тем и по другим, т.-е. от рода к виду, и обратно, от части к целому, от признака к вещи, от состояния к действию итп., но также от несущественного логически, но характерного поэтически, к вещи, итп. «Однорукий», как название «слона», не меняет логической формы, но на ней водружает новую форму. «Земля в снегу», «под снежным покровом», «под снежной пеленой», «в снежной ризе», итп. — все эти слова могут рассматриваться, как одна логическая форма, но здесь не одна внутренняя форма поэтическая. Еще, однако, безнадежнее обстоит дело, когда за «историю значения» принимают историю вещи, и следовательно, resp. историю названия, имени. Лишь вторично и производно можно говорить об истории значения вслед за изменением наименования, отнесения звукослова к данному класу и объему вещи (свойств, действий). Но это — один из методов.

Очевидно, что словопроизводство может итти и иными путями: по предписаниям и указаниям потребностей реализации самого смысла.

Свои диалектические законы внутренних метаморфоз в самой мысли еще не раскрыты. Законы развития, нарастания, обеднения, обрастания, обсыпания, инр., инр., сюжетов, тем, систем итп. должны быть найдены, как законы специфические. История значения слов, историческая семасиология, история литературы, философии, научной мысли, — всё это еще научные и методологические пожелания, а не осуществленные факты. Слава Богу, что покончили хотя бы с ними, как эмпирическими историями быта, «влияний среды», биографий, — если, впрочем, покончили. Настоящая история здесь возможна будет тогда только, когда удастся заложить принципиальные основы идеальной «естественной» диалектики возможных эволюций сюжета. Тогда только и эмпирическая история, как история эмпирически осуществившейся одной из возможностей или нескольких из возможностей, получит свой смысл и оправдание.

Подобно тому, как «мотивы» должны завинтиться, завихриться и закружиться в каком-то

коловращении, чтобы получился сюжет, и сюжеты сами сталкиваются друг с другом, сбиваются в кучу и рассеиваются, вновь вздымаясь в крутящийся и несущийся смерч. Удивительна динамическая подвижность, сила внимательного сосредоточия и способность перестраивать и переиначивать любые синтетические и антитетические комбинации со стороны следящего за развитием сюжета и уразумевающего его в каждое мгновение его изменения и в каждом характере его изменения. Как само слово от мельчайшей своей атомной или молекулярной дробности и до мировой связи в языках народов и языках языков есть одно слово, так и смысл, сюжет, всё содержание мыслимого во всех логических и поэтических формах — одно содержание. Оно воплощается во всей истории слова, и включает, через сопровождающее осмысление наименования вещей, все вещи на земле и под землею.

Это указание на «вещи» должно напомнить еще одно обстоятельство, дополняющее общую картину бытия «сюжета», как смысла. Понимание, втягивая в сферу разума самые вещи, тем самым втягивает и присущее им чувственное содержание. Онтические и логические, — фор-

мально-рассудочные,—схемы оживают под дыханием разума и расцветают, становясь вновь осязательно-доступными нашему опыту, переживанию, после того, как рассудок на время удалил от нас это чувственное многообразие под предлогом необходимости внести порядок в его хаос. Разумно-осмысленные чувственные картины действительности превращаются теперь из простого материала обыденного, «пошлого» переживания в материал эстетически преображенного переживания. Разумная эстетика восстанавливает тот разрыв, который внес в живой опыт рассудок, и она напоминает о том конечном оправдании, из за которого мы допустили названный разрыв. «Теория познания» забывает часто, зачем мы садимся в ее вагон, и воображает, что наше пребывание в ее более или менее комфортабельных купе и есть собственно вся цель нашего познавательного путешествия. Величайшая углубленность интуиций разума—не в том, что они яко бы доставляют нас в «новый» запредельный мир, а в том, что, проникнув через всё нагромождение онтических, логических, чувственных и не-чувственных форм, они прямо ставят нас перед самой реальной действитель-

ностью. Земля, на которой мы родились, и небо, под которым мы были вскормлены — не вся земля и не всё небо. Оправа, в которую нужно их вставить, меняет самое существо, смысл их, действительность их. Цель и оправдание нашего путешествия — в том, чтобы, вернувшись из него, принять свою действительность не детски-илюзорно, а мужественно-реально, т.-е. с сознанием ответственности за жизнь и поведение в в ней. Боратынский написал:

Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть успеваем,—
Какой же плод науки долгих лет?
Что, наконец, подсмотрят очи зорки?
Что, наконец, поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум?
Что? Точный смысл народной поговорки.

Как странно, что эта мысль облечена в песимистическое выражение! Как будто здесь не указано на постижение величайшего из уповаемых чудес! И не это ли надменность ума — считать такой результат не стоющим усилий наблюдения зорких очей, опытов и дум? Какой скорбный пример разлагающего влияния иудей-

ско-христианских притязаний на постижение непостижимого, — хотя пример и случайный из масы таких примеров. И как должно быть отлично от этого мироощущение человека, влекомого к своему храму за постижением коротенького речения EI, разгадка «точного смысла» которого обещала не илюзорные только радость и силу, и к которой манила не разочаровывающая приманка потустороннего блаженства, а реальная земная красота земного бытия и разумная вера в постижение его смысла.

Когда мы говорим о вещном заполнении форм идеальной диалектики смысла и сюжета, мы говорим уже о завершающем моменте познания и понимания. Мы говорим здесь об эмпирически-историческом бытии смысла. Говорим об конечном объективном моменте прибытия слова N из его уст и сознания в наше сердце и сознание. Этот последний объективный момент—не последний, как увидим, вообще, но прежде о нем еще нужно сказать несколько, и при том важных, слов.

Вещное заполнение смысла, овеществление сюжета, не есть, конечно, изготовление самой вещи. Иначе нужно было бы признать, что к

нам из уст N прилетела, как письмо или посылка по пневматической почте, сама вещь. Вещи существуют, а не сообщаются. Смысл—не вещь,—т.-е. не вещь, которую можно осязать, жевать, взвешивать на весах, обменивать на другую вещь, продавать или закладывать. Это есть «вещь» осмысленная, следовательно, мыслимая, омысленная, и именно потому и через это приобретшая возможность войти в мыслимые же формы сообщаемого, в формы онтические и логические. Вещь существующая должна быть «осмысленна», чтобы войти в состав смыслового содержания. Смысл—не вещь, а о т н о ш е н и е вещи (называемой) и предмета (подразумеваемого). Через название мыслимая,—а не только чувственно воспринимаемая,—вещь вступает в это отношение, которое само—мыслимость, и может связывать только мыслимости. Мечтать о связи «с а м о й» вещи с идеальной связью, и в особенности мечтать об этой связи так же, как о «в е щ н о й», значило бы мечтать о том, чтобы курица снесла к Пасхе математический эллипсоид, и чтобы философствующий кавалер напялил к этому празднику на свою голову математический цилиндр.

Вещь включается в сюжет через то только, что, становясь мыслимою, как мысль и входит в совокупность со-мыслей смысла. Если она идет в своей «естественной», неотмыслимой форме, то она входит, иными словами, в идейное содержание слова, как идея. Смысл есть идейный член в структуре слова. Смысл есть идейная насыщенность слова. К предметной данности слова чувственно-эмпирической и формально-логической прибавляется данность его материально-идейная. К функции слова номинативной и концептивной прибавляется функция идеирующая, разумная. Слово—идейно.

Идея, смысл, сюжет—объективны. Их бытие не зависит от нашего существования. Идея может влезть или не влезть в голову философствующего персонажа, ее можно вбить в его голову или невозможно, но она есть, и ее бытие ни мало не определяется емкостью его черепа. Даже то обстоятельство, что идея не влезает в его голову, можно принять за особо убедительное доказательство ее независимого от философствующих особ бытия. Головы, в которых отверстие для проникновения идей забито прочною втулкою, воображают, что они «в са-

мих себе» «образуют» представления, которые будто бы и составляют содержание понимаемого. Если бы так и было, то это, конечно, хорошо объясняло бы возможность взаимного непонимания беседующих субъектов. Для того же, чтобы при этом предположении объяснить именно понимание, приходится придумывать более или менее хитростные теории, но всегда остается вопрос: зачем, раз сами эти теории—представления и объективно не существуют? Во-первых, раз они не существуют, то их и найти нельзя, а можно только «выдумать», а во-вторых, как субъективные выдумки, они останутся в соответствующей голове, недоступные для другой, даже если она проглотит первую. Да и к лучшему, что они недоступны, и потому что вторая голова не обязана даже интересоваться тем, что «себе» и «в себе» выдумывает первая, и потому еще, что это поощряет к самостоятельной работе... представления.

Не специалистам философам, которым собственно нет дела до философских архивов и до того, какое там место и за каким номером занимает забавной памяти субъективный идеализм, следовало бы также не заглядывать в популяр-

ные введения в философию, тогда,—если их мозги не безнадежно испорчены псевдопсихологическими и псевдофилософскими теориями, контрабандою проникшими в их собственную специальность,—они нигде больше не найдут указаний на то, что их пониманию способствуют или их понимание составляют так называемые представления. Они нигде этого не найдут, потому, что их собственное сознание, остающееся, после рекомендованного воздержания, единственным источником, им этих указаний не даст. Кстати, быть может, и философы тогда скорее прикончат свой спор о том, куда бы приткнуть «представления» в мышлении и познании. Ограничимся здесь заявлением, что если представление есть идея, мысль, то оно и есть мысль, т.-е. то самое, что составляет мышление, и его второе имя есть только псевдоним, из которого так же мало вытекает бытие особой вещи, как из христианского имени Вероника, что была такая христианская мученица и святая. Если же представление не есть мысль, а что-то другое, то ему и не следует путаться там, где идет разговор о мысли. На этом основании, слушая сообщение N, пока мы не перестали и не хотим

перестать интересоваться смыслом того, что он говорит, какие бы у него при этом ни возникали «представления», относящиеся к смыслу или не относящиеся, для нас они все остаются к смыслу не относящимися,—если, конечно, он не сообщает прямо именно об своих представлениях, а говорит о вещах действительного мира и идеальных отношениях между ними. Так что, если он говорит о луне, звездах, музыке, пожаре, гипотезе Эйнштейна, революции, ипр., ипр., то мы так и будем понимать, что он говорит об этих «вещах», а не о своем представлении этих или других вещей. Если же он переменит тему и заговорит о своих представлениях этих и других вещей, то, 1, мы поймем, что он переменил тему, а, 2, мы на сами «представления» теперь станем смотреть, как на объективируемые словом sui generis «вещи», о которых его представления, опять-таки, нашего внимания до поры, до времени не привлекут.

Если же мы теперь вернемся к пониманию, смыслу и идейному мыслимому содержанию слова, мы заметим еще некоторые не лишенные интереса подробности. Люди, любящие по-

лучать глубокомысленные решения по методу наименьшего напряжения мыслительных сил, давно порешили, что, конечно, содержание без формы не годится, но и форма без содержания мало поучительна. А если они заглядывали в словари философских терминов, то еще знают они и то, что форма и содержание—понятия соотносительные, и что одно не бывает без другого. Обидно бывает соглашаться с вещами до приторности банальными, но тем не менее это—верно. И всё-таки соглашаться обидно, потому что банальность есть ничто иное, как скучная бессмыслица, лишенная аромата и свежей прелести здоровой, захватывающей глупости. Положение, банальное по форме, лишено содержания,—не потому ли оно «верно» и не потому ли у него такая отталкивающая узкогрудая верность?

Соотносительность терминов: форма и содержание означает не только то, что один из терминов немыслим без другого, и не только равным образом то, что форма на низшей ступени есть содержание для ступени высшей, а еще и то, что чем больше мы забираем в форму, тем меньше содержания, и обратно. В идее можно

даже сказать: форма и содержание—одно. Это значит, что чем больше мы будем углубляться в анализ заданного, тем больше мы будем убеждаться, что оно ad infinitum идущее скопление, переплетение, ткань форм. И таков собственно даже закон метода: всякая задача решается через разрешение данного содержания в систему форм. То, что дано и что кажется неиспытанному исследователю содержанием, то разрешается в тем более сложную систему форм и напластований форм, чем глубже он вникает в это содержание. Таков прогрес науки, разрешающий каждое содержание в систему форм и каждый «предмет»—в систему отношений, таков же прогрес поэзии. Мера содержания, наполняющего данную форму, есть определение уровня, до которого проник наш анализ. Содержание—неопределенное и безграничное μὴ ὄν, ждущее своего оформления и определения. Определенное же содержание—множество «низших» форм по отношению к высшей единой форме. Так, капля воды—чистое содержание для весьма ограниченного уровня знания; для более высокого—система мира своих климатических, минеральных и органических форм. Молекула воды—си-

стема форм и отношений атомов двух элементов; атомы—электронные системы форм. Чистое содержание все отодвигается, и мы останавливаемся на уровне нашего ведения. Как глубоко можно итти дальше, об этом мы сами не знаем. Мы знаем только императив метода: постигать содержание, значит, разлагать смутно заданную материю в идеальную формальность.

Сюжет, смысл, содержание слова суть системы идеально-разумных форм, точно так же, как чувственная данность эмпирического мира в каждом своем качестве есть система чувственных форм и принципиально разрешима в эту систему. Пустых форм только в том смысле и не бывает, что всякая форма полна, как единство, многообразием других форм, т.-е. новых единств, новых многообразий. Понимать слово, усматривать его смысл, и значит усматривать единство в многообразии, видеть их взаимное отношение, улавливать текст в контексте, значит, как было сказано, улавливать отношение между многообразием называемых вещей и единством оформливающего их предмета, значит, совсем коротко, конкретно жить в мире идей.

Предметное единство, как мы также видели, есть единство данное, не конструктивное, хотя и конститутивное. Логический акт полагания (Setzung) конструирует формы смысла. Он—пуст для того, кто не видит, что устанавливаемое, формируемое им есть единство многообразия, а не голая единица. Как остановленный в движении кинематографический снимок—он единство многого, но он единица, выделенная искусственною остановкою, а в действительности составляющая текучий момент других единств, координированных в подчинении высшему единству. Пустое концепирование—илюзия абстракции; концепирование всегда и разумение, т.-е. оно не только фиксирование логической точки, но и сознание ее текучей, динамической полноты. Каждая точка концепирующего и вместе разумного внимания—момент на траектории движения мысли, слова, и вместе ключ, из которого бьет мыслью и смыслом. Только в этой своей динамике и постижимо слово до своего объективного конца.

Акт понимания или разумения, акт восприятия и утверждения смысла в концепте, выступает как бы заключенным в оболочку концеп-

ции, формально-логического установления (Setzung). Кто видит только оболочку, тот концепирует, **не понимая**, для того мысль, и как функция разума, есть рассудочное стеснение, тот, в самом деле, рассуждает, но не понимает. Естественно, всё ему рисуется в его же безнадежном положении рассудочной асфиксии. Ему можно только посоветовать спешно принять меры к рассеянию окутывающих его асфиктических газов **теории**. Немного разумного кислорода, и он оживет в естественном и непосредственном понимании, если не будет насильно отворачиваться от расстилающегося перед ним смысла и не захочет насильственно уморить себя—уже из одного лишь каприза. Акт Setzung пустой, без смысла внутри его, можно было бы сравнить с выстрелом ружья, заряженного холостым патроном. В действительности нужно взять гильзу, набить взрывчатым веществом, забить кусок свинца, и тогда только палить. Алогисты уверяют, что логика палит только холостыми патронами, что слово—самое большее, только пыж. Не из того ли их аргументация, что они, дорожа переживаниями, дрожат за жизнь. Трусость, в том числе и мыслительная, часто не видит дей-

ствительной опасности. Логофобия изобретает алогические снаряды для обстрела истины, не подозревая опасности, которою угрожает алогистам их изобретение. Дело в том, что как только они его изобретут, и как только обтянут его оболочкою слова, чтобы послать его для разрушения разума, они не могут утаить секрета изобретения от себя, и себя же прежде всего взорвут на воздух. Разум при таких взрывах уже не раз присутствовал, для него это только иллюстрации к его признанию силы слова. И алогист на что-нибудь нужен!..

Е

Покончив с интерпретацией объективной, следует обратиться как-раз к тем «представлениям», которыми N сопровождает свое сообщение. Это—его личные, персональные переживания, его личная реакция на сообщаемое. Сообщая нам нечто, он вольно или невольно «передает» нам также свое отношение к сообщаемому, свои волнения по поводу его, желания, симпатии и антипатии. Все эти его переживания в большей мере, чем через слово, передаются нам через его жестикуляцию, мимику, эмотивную

возбужденность. Но они отражаются и на самом слове, на способе его передачи, на интонациях и ударениях, на построении речи, спокойном или волнующемся, прерывистом, заикающемся, вводящем лишние звуки или опускающем нужные, итп. И несомненно, что в весьма многих случаях этот «член» в структуре слова для нас превалирует, так что само передаваемое со своим смыслом, по его значению для нас отходит на второй план.

Значенья пустого слова
В устах ее полны приветом.
. . . . . .
То истиной дышит в ней всё,
То всё в ней притворно и ложно,
Понять невозможно ее,
За то не любить невозможно

Понимание, как интелектуальный фактор, в восприятии такого слова или в восприятии слова с этой стороны, отступает на второй план, и приходится говорить, если о понимании всё-таки, то понимании особого рода, не интелектуальном, а любовном или ненавидящем. Чтобы подчеркнуть имеющую здесь место непосредственность переживания у воспринимающего,

как ответ на переживание N, здесь уместно говорить о симпатическом понимании. Слово «симпатия» оттеняет и эмоциональный по преимуществу способ восприятия переживаний N и его непосредственность, основанную на прямом «подражании», «сопереживании», «вчувствовании» итп. Нет надобности думать, что определенного качества переживание N возбуждает в нас переживание того же качества. Не только степени симпатического переживания неопределенны и меняются от воспринимающего к воспринимающему, но даже качество переживания у воспринимающего не предопределяется качеством переживания N. Его радостное сообщение может вызвать в нас тревогу, его страх— раздражение, итп. Со-переживания наши, однако, следует отличать от самостоятельных, не симпатических, реакций наших и на содержание сообщаемого и на собственные чувства N. Так его страх по поводу сообщаемого вызывает непосредственно, симпатически, раздражение, а само по себе сообщаемое может вызвать при этом недоумение о причинах его страха, а сознание того, что N испытывает страх по такому поводу, может вызвать чувство комического, итп.

Во всяком случае слово выполняет, играя роль такого возбудителя, новую функцию, отличную от функции сообщающей,—номинативной, предицирующей, семасиологической, — и в структуре своей выделяет для выполнения этой функции особый член. Но, имея в виду, что внутренняя расчлененность слова отражается и на внешнем чисто звуковом облике слова, мы тщетно искали бы постоянной звуковой приметы, «симптома» субъективных реакций N. Если в известных пределах можно сказать, что такую роль играют «междометия», «частицы» (в особенности, например, в греческом), то, с другой стороны, очевидно, что их употребление слишком ничтожно, а указанные реакции и без их помощи передаются достаточно полно. Вместе с тем не следует забывать и того, что «значение» междометий и частиц — условно, и что известная часть междометий образуется в языке в результате потери словом своего собственного смысла. Такие междометия и частицы, как «спасибо», «corbleu», «parbleu», «dame», «jemine», ипр., свидетельствуют против пресловутой теории происхождения языка из «естественных» воплей, но в пользу того, что, как выразители субъектив-

ного состояния N, они получились по атрофии в них собственного смысла.

Таким образом, если нет в слове или среди слов особого «выразителя» субъективных «представлений» N, то нужно признать, что для слова, как такого, эта функция вообще является второстепенной, прибавочной. И, конечно, дело так и обстоит. Слово, как мы его до сих пор рассматривали, было «вещью» социальною, тогда как в качестве «выразителя» душевных субъективных волнений оно факт всецело «естественный». Животные, не имеющие никакого языка, и потому не мыслящие, тем не менее издают звуки, «выражающие» их эмоции, состояния организма, напр. В точном и строгом смысле такие «звуки», как лишенные в точном же смысле «смысла», не суть «выражения». Это знаки— другой категории. Психологически или психофизиологически это — составные части самого переживания, самой эмоции. Мы говорим о крике, «выражающем» страх, в таком же смысле, в каком мы говорим о побледнении, дрожании поджилок, итп., как выражениях страха. Всё это— не выражения «смысла», а части, моменты самого переживания или состояния, и если они внешне

заметнее других моментов или если их легче установить, то это дает им возможность быть *симптомами*, но не «выражениями» в точном смысле. Естественный крик, вопль, стон, только потому, что он исходит от человека, не становится eo ipso речью. Речь *сопровождается* естественными проявлениями душевного и физического состояния говорящего. И обратно, эти проявления отражаются на всём его поведении, в том числе и на его речи. Чтобы понимать слово, нужно брать его в контексте, нужно вставить его в известную *сферу* разговора. Последняя окружается для говорящего известною *атмосферою* его самочувствия и мироощущения. Воспринимающий речь понимает ее, когда он вошел в соответствующую сферу, и он *симпатически* понимает самого говорящего, когда он вошел в его атмосферу, проник в его самочувствие и мироощущение.

Из этого ясно, почему в слове, как таком, нет особого носителя субъективных представлений и переживаний говорящего. Через них понимание слова, как такого, не обогащается. Здесь речь идет о познании не смысла слова, а о познании самого высказы-

вающего это слово. Для слова это—функция побочная, πάρεργον.

Этого заключения нужно твердо держаться, потому что не только дилетантизм до сих пор возится со словом, как передатчиком «чужой души». Если угодно, то, конечно, можно на этой роли слова сосредоточить всё внимание, и это, конечно, не лишено интереса, но этот интерес, эти занятия, это внимание — психологов. Слово — одно из могущественнейших орудий психологического познания, но нужно отдавать себе отчет в том, зачем мы к нему подходим. Для лингвиста, логика, семасиолога, социолога,— слово совсем не то, что для психолога или биографа. Психологическая атмосфера слова складывается из разнообразных воздушных течений, не только индивидуальных, присущих, например, лично автору сообщения, но также исторических, социально-групповых, професиональных, класовых, инр., инр. Всё это — предмет особого рода знания, особых методов. Останавливаться на этом не буду, так как могу отослать читателя к моей статье «Предмет и Задачи Этнической Психологии», где именно эта сторона вопроса освещена подробнее.

Итак, данность слова здесь уже не объективная, а субъективная, индивидуально и социально-психологическая, или также психологически-историческая. Функция, с которой мы имеем дело, выполняется не над смыслом, основанием слова, а ek parergou над известным наростом вокруг слова. Углубившись в анализ структуры слова, от его акустической поверхности и до последнего интимнейшего смыслового ядра, мы теперь возвращены назад, опять к поверхности слова, к его субъективной оболочке. И верно, что душевное состояние N, его волнения, скорее и вернее всего передаются именно переливами и переменами самого звука, дрожанием, интонацией, мягкостью, вкрадчивостью или другими качествами, иногда ни в какой зависимости от смысла не стоящими.

Совокупность всех названных качеств придает слову особого рода выразительность. Чтобы отличить эту выразительность слова от его выражательной по отношению к смыслу способности, лучше ее отличать особым условным именем. Таково название: экспресивность слова. Соответственно можно говорить об экспресивной функции слова. Можно было бы гово-

рить здесь и об импресивности слова, потому что часто задача пользующегося словом в том и состоит, чтобы вызвать в нас впечатление известного рода, а не столько в том, чтобы сообщить нечто. Своеобразные задачи и свои трудности в субъективно-психологической интерпретации и в персональном, симпатическом понимании лица представляют те случаи, где приходится расчленять самое атмосферу экспресивности, чтобы отделить в ней «естественное» от «искуственного», замысел от выполнения, ложь от искренности, «себе на уме» от откровенности, итд.

Иногда именно экспресивной стороне слова придают исключительное эстетическое значение. Поскольку экспресия имеет целью, и даже независимо от сознательно поставляемой цели, на ряду с прочими эмоциями вызывает и эстетические, постольку этого отрицать нельзя. Но, как принцип, это утверждение в корне неверно. Ни с каким членом структуры слова эстетическое восприятие исключительно не связано. В целом оно сказывается, как сложный конгломерат переживаний, фундированных на всех моментах словесной структуры. Роль каж-

дого члена, как положительная, так и отрицательная, должна быть учтена особо для того, чтобы составить представление о совокупном действии целого.

Лишь одно обстоятельство следует наперед и обще отметить, потому что оно действительно играет особую роль, когда становится целью сознательного усилия. Там, где подмечено особое эмоциональное значение экспрессивных свойств слова, и где есть целесообразное старание пользоваться словом для того, чтобы вызвать соответствующее впечатление, там находит себе место своеобразное творчество в сфере самого слова и творчество самого слова. Созданное для цели экспресии и импресии слово, затем, обогащает и просто сообщающее слово. Это есть творчество поэтического языка. Не обязательно это есть вместе и эстетическое творчество,—и вообще, как мы видели, поэтика не есть эстетическая дисциплина,—так как экспрессивность может относиться и к эмоциям порядка, напр., морального, возбуждающего чувства нравственные, патриотические, чувства справедливости, негодования, итд. Те средства, к которым обращаются для этих целей, издавна полу-

чили название фигуральных средств или просто фигуральности слова.

Как некоторые речения из осмысленных превращаются в экспресивные, так фигуры речи могут стать вспомогательными средствами для передачи самого смысла, подчеркивания его оттенков, тонких соотношений, и таким образом способствуют обогащению самого сообщающего слова. Фигура из поэтической формы становится внутренней логической формою. Язык растет. Субъективное переживание воплощается в объективном смысле. Автор умирает, его творчество сохраняется, как общее достояние, в общем богатстве языка. Поэтому, если мы читаем литературное произведение, следовательно, не личное к нам послание, обращение или письмо, и если мы его читаем не с целью биографического или вообще персонального анализа, а читаем именно, как литературное произведение, для нас его фигуральность остается только «литературным приемом», «украшением» речи, и в этом смысле должна быть отнесена, скорее, к области внутренних поэтических форм самой речи. Формы личной экспресии, таким образом, объективируются в поэтические формы слова. И

опять-таки независимо от расчета и желания автора. Вопрос об *искренности* писателя есть или вопрос литературный, поэтический и эстетический, или попросту вопрос неприличный, в воспитанном обществе недопустимый. Только при таком отношении к автору, автор есть автор, а не легкомысленный Иван Георгиевич, пустой Георгий Иванович, глупый Иван Иванович, вор и картежник Александр Иванович, благонадежный ханжа Иван Александрович. Тут, повидимому, граница и первое правило хорошего тона и вкуса литературной *критики*—в отличие от биографического тряпичничества и психологистического сыска.

Старые риторики противопоставляли фигуральность, как *язык страстей*,—разительный и сильный, свойственный жару чувств, стремлениям души и пылкому движению сердца,—тропам, *языку воображения*,—пленительному и живописному, основанному на подобиях и разных отношениях. Едва ли это условное разделение имеет какое-либо иное значение кроме *генетического*. Это я и хочу подчеркнуть, говоря, что фигуральность обогащает самое речь. В поэтическом анализе, поэтика имеет полное

право смотреть на экспресивные формы, как на с в о и, и видеть в поэте поэта не только в ущерб его персоне, но и в прямое ее игнорирование. Наоборот, в глазах его лавочника, лакея, биографа, и его чисто поэтические качества выглядят, как экспресивные персональные черты.

Москва, 1922. Февр. 13.



ОГЛАВЛЕНИЕ

		стр.
I	1	A. 7
		B. 11
	2	 14
II	1	A. 14
		B. 18
	2	 23
	3	A. 34
		B. 40
		Сх 55
		β 73
		Д. 81
		Е. 107

В вып. 1 типографией произвольно внесены след. поправки-опечатки:

на стр. 7 *перемещены точка и дефис*

на стр. 28 *напечатано* клоуном *вм.* клауном

на стр. 48 *в цитате утеряны ударенье и придыханіе*

на стр. 17, 19, 37, 46 *без надобности удвоены согласные в словах:* неапетитный, кассу, эффектами, классицизма, классиками.

Сверх того, самим автором на стр. 80 *пропущены запятые после слов:* Данте и любви.